

Анатолий
СОРОКИН

КНИГА ВТОРАЯ

ГОЛУБАЯ ОРДА

ЗНАМЯ
ВЕЛИКОЙ
СТЕПИ



Аннотация

Выжить и возродиться. Обрести свое будущее. Вернуть земли и славу кочевых воинов, утраченные отцами... С дюжиной отчаянных единомышленников удачно вырвавшись из окружения, оставшись с единственным преданным нукером Кули-Чуром, тутун Гудулу провел на скале трудную зиму, и весной 681 г. Орхонская степь вновь услышала грозный топот тюркских коней.

«Грубая сущность не вечна, — напоминает автор во второй книге романа, — но вечными бывают ею рожденные мысли, и глухой голос предков, подобный эху, иногда возвращается. Но чтобы услышать его, необходимо все же напрячься — слышащий только себя, ничего кроме себя и не услышит».

Анатолий Сорокин Знамя Великой Степи

Грубая сущность живого не вечна, нетленными остаются лишь мысли, рожденные в минуты наивысшего напряжения его беспокойного разуму, и достигающие нашего слуха подобно эху глухим голосом предков. Но чтобы услышать его или представить в прежнем далеком образе, необходимо изрядно напрячься — слышащий только себя, многое не услышит.



Древние тюрки

РОК ИСКУШЕНИЯ

— И новые — вы грешны, — сказал Пророк, появившись на каменном острове, стесненном буйными водами, среди уцелевших по милости Неба людей и животных, зверей и гадов, начавших снова плодиться.

— Сотворено для геенны много бесов и грешных людей! Зачем? — вскричали ему. — У них нет сердца, которым они не понимают, глаз, которыми они не видят, ушей, которыми не слышат! Они — как скоты, даже более заблудшие.

— Кто сбился с Пути, тому нет водителя, и Небо оставляет его скитаться слепо в своем заблуждении, — Пророк снова был краток.

— Ты ведь — только ясный увещеватель! — вскричали островитяне, совсем не понимая того, что стоят на макушке высокой горы, а вод вокруг так много, как много было пролито слез во все прежние времена.

— Если бы я знал сокрытое, я умножил бы себе всякое добро, и меня не коснулось бы зло. Да, я — только увещеватель и вестник для народов, которые способны верить, — смиренно изрек Божий Посланник. — Восславьте хвалой Господа вашего и просите у него прощение... Поистине, Человек неблагодарен перед своим Господом!..

Люди подвержены страху. Они молились истово тридцать три дня и тридцать три ночи. Потом спросили:

— Как мы должны поступить, если мы прощены?

— Зверь порождает зверя, человек — человека. Не становитесь ни псами, способными только злобствовать, ни тварями пресмыкающимися. Добро и алчность — только добро и алчность, стоит ли в этом еще что-то искать? Изберите по сердцу свой путь, идите дорогами, созданными для странствий, но не для

цели, пристально всматривайтесь в душу свою, но не мою, и снова молитесь, другого не знаю, — был тихим ответ.

Пав на колени среди птиц, скотов, зверей и гадов, люди просили себе милости и клялись Ему...

*ОН снова простил их, вода отступила. Но РОК!
Человеку некуда деться от своего РОКА...*

Глава первая НАЕДИНЕ С СОБОЙ

РАННИЕ СНЕГОПАДЫ

— Тутун Гудулу? Я снова слышу это собачье имя! Живыми не выпускать! Уничтожить каждого тюрка, кто посмел самовольно сесть на коня! Я покажу, как бунтовать! — послышалось грозное приказание китайского военачальника, и было последним, что Гудулу запомнил отчетливо и лишь сильней подстегнуло.

«Уничтожить! Живым не выпускать!.. Попробуй не выпустить!»

— Слышали? Все слышали — живыми не выпустить! За мной, несчастные тюрки! У нас нет больше хана. Никого у нас нет, боги, и те.... А-аа! — Не то шептали его пересохшие губы, не то хрипело и рычало на пределе возможного где-то в раззявленной глотке.

Встречаясь в замахе, тонко звенели сабли. Привставая на стременах, он слышал странный звон, совсем не скрежещущий, как должно быть, а назойливо комариный, будто одно каленое жало касалось другого вскользь и нечаянно. Слышал под собой жилистое крепко сбитое тело коня, сильные ноги, будто ставшие... его собственными ногами, но сабли уже не ощущал. Ее словно не было... Как не было и руки. Вообще: мрак, брызжущий кровью

в лицо, въедливый звон, скольжение сабли по сабле, плотная тьма, набитая, множеством ненавистных, уродливых лиц с хищно прищурившимися глазенками.

Они возникали и пропадали, появлялись и вновь исчезали, как в странном тумане и мареве. Запрокидываясь на спину и отстраняясь, они будто растворялись во тьме, полной криков ужаса, боли, ненасытно пожиравшей разом обрывающие возгласы смерти, охи и стоны в одной стороне ночи и мгновенно рождающейся в другой, и он, тутун Гудулу, здесь не причем, если... вокруг одно сумасшествие.

И сабля его не причем, дело, скорее, конечно, в коне.

Хороший под ним был конь, удачный. Шел смело, всей грудью, слышал желания всадника и сам, всей мощью широкой груди раздвигал и солдат и плотную, горьковато липкую вязь с привкусом крови. Гудулу легко к нему приспособился, поверил, как верят лучшему другу, работая больше коленями, пятками, яростно вращая саблей и прикрываясь щитом, совсем не напрягал повод.

По прежнему опыту и прежним ощущениям тутун знал: не давая полной картины и общего зримого представления, опасность ночного сражения менее трагична и чувственна. Она остается и перед глазами, и в горячем

возбужденном сознании как мгновение стычки с одним, двумя или тремя противниками, остальное — неважно, ничего другого вроде бы нет, и долго для него больше ничего не существовало. Аспидно-черная темь шуршала песками, врывалась близкими и далекими глухими вскриками, давила на плечи, утяжеляла выброшенную вперед руку, которой было тяжело там, где должна находиться сабля, но тяжести самой сабли почувствовать никак не удавалось. Наверное, мешала плотная тьма, наполненная запахами крови, ужасом смерти, управляющими человеческой психикой по своим необъяснимым законам. Свои действия он совершал в безысходном отчаянии, дававшем дикую силу протеста, противления всему, что вокруг и вставало у него на пути. Он был неудержимым, безрассудно взбешенным призраком на крупном гривастом коне. Устремленный во тьму, которая не пропускает, нацелившись десятком длинных пик, замахивается саблями, рубит и рубит, он, прикрывающийся щитом, был притягательной надеждой для воинов, скачущим следом. Они были рядом, Гудулу слышал каждого. Не рассыпаясь лавой, шли строем, немедленно заменяя, того, кто только что скакал впереди. Неслись в непроходимую смертельную бездну, переполненную до отказа вражеской неисчислимостью, и нужно было всех увлечь

личным примером, по-возможности выручая в критическую минуту собственной саблей.

Он долго был горным потоком, лавиной, селем, расчищающими путь, и сколько их было, нукеров, не менее безрассудно устремившихся следом, можно только предполагать, понимая, что крайне немного. И теперь, пока жив, над ним нет ни силы, ни власти, кроме смерти, способной остановить его, приказать опустить разъяренную саблю, покинуть седло, покориться чужой ненавистной силе, через которую он яростно прорубается.

Ни за что!

Он заранее и всегда это знал, ощутив невозможность покориться китайцам, сдаться в плен еще на Желтой реке, приемля всякое другое решение, но и плана какого-то ясного, подготовленного у него не было. Просто монах Бинь Бяо, уверенный, нагловатый, зовущий в Чаньань, стал для него последней каплей тоскливой нерешительности, враз взорвавшей сознание, и больше от него уже ничего не зависело.

Больше никто никогда не должен решать его собственную судьбу на свое усмотрение. Ни Урыш-старуха, ни шаман Болу с того света, ни китайские армии, ни само... Небо.

И Небу власть над собой полностью тутун Гудулу никогда не отдаст, он лишь в трудную

минуту попросит богов о помощи, как просит сейчас.

— Помогите! Помогите, если вы есть! — шептал он этим богам.

Он страстно шептал, пытаясь поверить, что боги все же услышат.

Ему было жарко. Ему было душно. По телу катился пот. Были мокрыми затылок и шея, и он чувствовал как ему неприятно, что мокрый затылок, но выбрать момент, запустить руку за ворот, не только вытереть, просто хотя бы смахнуть эту неприятно липкую теплую влагу не было никакой возможности.

И все же огонь ярости вовсе не слеп и совсем не безрассуден, как принято думать, свое он слышит всегда, и всегда, притухая или разгораясь и обжигая новой тревогой, чему-то рассудочно внемлет. Гудулу облегченно вздохнул, позволил себе немного расслабиться, когда рядом заметил фигуру Кули-Чура. Кули-Чур оказался немного левее, на месте, где всегда находился привычный Егюй.

— Егюй... где? Где Изелька? — оглядываясь по сторонам, крикнул хрипло Гудулу.

— Не знаю, не видел... Не останавливайся, гони, дьявол, им нет конца!

— Егюй!.. Изель! — Повод резко натянулся, но конь, сильно подхлестнутый плеткой сердитого

Кули-Чура, пошел с новой стремительностью.

— Егюй! Изелька! — ревел Гудулу, вращая бешено головой.

— Гони, дьявол! — кричал Кули-Чур, как он уже кричал на него давней жарко-багровой, невысказанно плотной ночью, и стегал, сек, хлестал короткой плеткой коня.

— Изелька, паршивец! — безотчетно гневался Гудулу, почему-то желая немедленно увидеть толстогубого сорванца.

— Е-гююй!

Ни Егюй, ни Изель не отзывались, место Егюя занимал Кули-Чур, и теперь широкоплечий, тяжеловесный тюрк, черный как непроницаемая ночь, стал щитом, селом, лавиной, следовать за которым легче и проще.

Получив возможность перевести дух, Гудулу опять оглянулся.

— Изелька! Изелька, паршивец, ты где?

Было странным, что ночь расступается, выпускает в легкий рассвет, на ветер, бьющий в лицо утренней свежестью, стесняет приятной истомой холода розовеющей пустыни. Радостно было чувствовать себя живым, видеть впереди надежную спину Кули-Чура, впускать в себя робкое утро и его возбуждающие токи нового близкого дня.

Непроизвольно перестав гнать коня, Гудулу

долго ехал точно во сне, не задумываясь, куда и зачем, пока не уперся в Кули-Чура.

Мир, терзавший всю ночь, алчущий его гибели, мир безжалостный и жестокий, словно вздыбился в последний раз оскалившимся конем и рассыпался в прах у него под копытами. Тишина! Обнимала одуряющая тишина, накрывшая розовеющие пески утренней свежестью. В одно мгновение скалящаяся слева и справа, вдогонку и впереди, хищница-смерть отступила, позволив упасть лицом на гриву задыхающейся лошади, покрывшейся пеной. Тутун Гудулу не успел толком подумать и остро почувствовать, что в нем и вокруг, в одно мгновение наполнившись сумасшествием. Рвущее жилы не напрягом руки и сабли, пытающейся достать чье-то мерзкое тело, а восторгом, что доставать больше некого. Некого! Нервной дрожи, сумасшедшего отчаяния, предельного напряжения отчаянно работающих рук — одной, взбрасывающей щит и другой, размахивающей саблей — больше нет. Оставшегося в ночи безумия, которым он только что жил, способного вопить, сострадать, сомневаться, сочувствовать, сжиматься от страха не успеть опередить занесенную саблю противника больше нет, упав тишиной и блаженным покоем. В один безотчетный миг он словно вышел из оглушающего оупения, наполнявшего ненавистью и презрением

ко всему безумно мечущемуся, размахивающему окровавленными саблями, пиками, громыхающего щитами. Мир жадный и ненасытен, воинствующий, которому нужно было или безоговорочно подчиниться, стать рабом в кандалах, или, напрягаясь на пределе отчаянной безысходности, покончить навсегда, изрубить, рассыпался, перестал существовать, требовать его смерти, представ широкой спиной Кули-Чура на лошади. Ощущая в себе бурю, ошалелое буйство крови, бьющейся в голове, кровавым пожаром мельтешившей в глазах, Гудулу напрягался всю страшную ночь, вытеснив из головы всякую мысль об опасности. Ныли крепко стиснутые зубы, но он терпел. Тяжело становилось при каждом замахе сабли запрокидывающейся голове, обрызганной кровью. Ныло судорожно вздрагивавшее горячечно нервное тело, не желающее замечать, что еще дышит и чувствует, живое и жадное, волей безжалостной судьбы и неведомой силой презрения брошенное на жалящие угли погребального костра. Еще существует, но только как тень, паутина, падающая на лицо, текущая меж лопаток зудом потного тела, утомленного истаивающей ночью, тяжесть пережитых испытаний... но смерти впереди уже нет.

Сколько можно! Боги сходят с ума, проверяя меру его терпения и тех, кто рядом?

Совсем недавно, минувшим вечером, в лагере, окруженном китайцами, он готов был предпочесть неизбежному плену достойную смерть на поле боя, но умирать уже не хотелось. Минуту назад испытывая и страх и сомнения, как ощущал перед броском в холодные воды Желтой реки, приняв отчаянное решение плыть на другой берег, готовый к любому исходу, он почувствовал вдруг, что боязнь жарких углей всепожирающего костра, как и ледяной воды, неожиданно притупилась. Что тело его, сбросив тяжесть тревожного напряжения, уже торжествует.

Ее больше нет — смерти!

Нет ее, отступила вместе с ночью!

По крайней мере, сегодня и для него, воина-тюрка. Есть вечный полет среди алых маков на грани восторженного безумия, поющего о славной победе, которая все же случилась.

Туда — в сумасшедшее красное, обжигающее, — и обратно.

С усилием и животным стоном преодоления.

Он больше не интересовался бесследно исчезнувшим с его глаз монахом. Не желал знать, куда подевались китайцы в броне и блестящих в лунной ночи, только что возникавших ряд за рядом. Всю ночь он видел только шеренги, шеренги, в которые должен снова и снова врубаться, заранее высчитывая каждый скачок коня, снеся кому-то

башку, раздвинуть сильным конем лезущие в глаза панцири, провести сквозь них скачущих следом, слушая тяжкий сап и дыхание. Только — вперед! Остановиться было невозможно. Кто остановит стрелу, слетевшую с лука?

Ярость о смерти не рассуждает. Неистовство воина — движение сжавшегося в ком тела, вскинутая рука с острым клинком. Удваивающаяся и утраивающаяся страшная сила, наполняющая крепкое, каменеющее тело и рвущая собственные жилы. Выбора нет! Начав — иди, тутун Гудулу! Шаман Болу, неожиданно появившийся парящим над головой привидением, сузив глаза, насмешливо зашептал: «Опять спасаешь слабых, тутун? Зачем они — слабые? Иди! Сам! И продолжи... Иди, тутун Гудулу, больше некому. Я буду следить за тобой. Или тебе повезет, и ты начнешь новое великое дело освобождения поработанного народа тюрк, или достойно, в седле, завершишь свою плотскую жизнь, принадлежащую Небу».

— Кажется, вырвались, Гудулу! Ну и ночь! — Кули-Чур был не только мокрым, он был обрызган кровью.

Барханы скрывали пространство; вокруг тутуна и Кули-Чура собралось немногим более дюжины нукеров.

Немногим более дюжины, но не было Егюя с Изелькой.

Их с ними не было.

— Изелька... Кто видел Егюя с Изелькой? — спросил Гудулу, не узнавая собственный голос, жалкий, невыразительный, как надорвавшийся тем же сражением, что и рука.

Пески! Вокруг возвышались горы песков, наползая один на другой, громоздились барханы; они, конечно, бездушно молчали.

Молчали и нукеры, собравшиеся вокруг бесшабашного предводителя, задеревенелые и бесчувственные, они еще не могли осознать в полной мере всего совершенного, что по-прежнему живы.

Живы, дьявол возьми!

Каждый вправе решать собственную судьбу исходя из личных желаний, но нелишне не забывать, о тех, кто находится рядом. Не сообщество создает вожака, — чушь, бесстыдная ложь и неправда — сама сильная личность выдвигает однажды себя на передний план, порой неосознанно подставляясь взбудораженной массе, сообщество лишь соглашается, принимает и признает. Законы лидерства никем не прописаны, но существуют со дня зарождения живого, по-разному о себе заявляя — дюжина тюрков, готовая подчиниться любому слову тутуна, жила ожиданием. И кто бы сейчас не попытался ей приказывать, никого не услышит. Кроме тутуна,

которому и кричать не надо, достаточно властно поднять руку.

Да что там — властно, просто вытянуть в нужную сторону.

Чувство единства — стихия неудержимо непознаваемого, сцепляющегося в горячий клубок, становящийся плавительным тиглем судеб и судеб. Властью окрика не насаждается: ее рождение — потребность, но не приказ.

Пески, кажется, шевелились.

Пустыня пялилась желтоглазо, сурово.

Тутун произнес:

— Люди терпеливее животных, воду наших курджунов доверим Кули-Чуру, она для коней. Ты кто, не знаю тебя? — Камча тутуна указала на пожилого нукера, добродушного на лицо.

— Суван, — назвал себя пожилой добродушный увалень-коротышка.

— Прихвати связку саксаула и поднимись на бархан, я поднимусь на другой: сигнальный дым будет не лишним, кто потерялся. Но в оба, глаза, Суван, китайцев может привлечь... Осень, день будет прохладный, побережем коней, отдыхайте.

* * *

День оказался не просто прохладным, день выдался пасмурным, что для начала было совсем не

плохо. В течение дня прибилося еще почти два десятка прорвавшихся из окружения, но Егюй с мальчишкой не появились, и усилия упрямого тюрка, рассылавшего в разные стороны по два-три воина, взлетавшего на барханы, часами стоявшего на них, не слезая с лошади, надежды не принесли. Зато со стороны следящего за пустыней Сувана появилась сотня преследователей, причем, не китайских, что выяснилось с некоторым опозданием, и уходить пришлось срочно — к чему затевать стычку, чтобы снести несколько вражеских голов и потерять бессмысленно свои? Уходили они, к счастью, снова в ночь, на пределе лошадиных сил. Отходили хитро, пользуясь барханами и часто меняя направление. Преследователи с завидным упорством, сбиваясь со следа, теряя во тьме, особым чутьем находили их снова.

У преследователей проявлялась упорная цель, и в чем она, на следующий день догадаться не составило труда — отряд возглавлял уйгурский князь Тюнлюг. Дело принимало крутой оборот, вновь приведя тутуна в бешенство.

Вечером, не разрешив разжигания костров, он пробурчал неохотно:

— Охота идет на меня, заклятый мой враг князь Тюнлюг не отстанет... Решайте, кто куда, никого упрекать не могу, но и со мной радости не найдете.

— У нас нет припасов, зато у Тюнлюга в избытке, хорошо, что князь появился, словно посланный Небом. Я решил взять у него кое-что, Гудулу, — будто бы равнодушно, лишь взблеснув глазами, произнес Кули-Чур и спросил, скорее, для вежливости: — Разрешить?

Тутун, зная, что Кули-Чур когда-то служил Баз-кагану, предводителю телесской орды на Селенге, и должен помнить уйгурского князя, спросил настороженно:

— Князь... Ты был под его началом?

— Нет, я телесец северного огуза на Косоголе, жил в предгорьях Саяна, — ответил ровно Кули-Чур и поднялся: — Так разрешишь вылазку, тутун-предводитель?

— Не болтай языком в пустую... если решил.

— Тогда кто ты для нас?

— Тюркский воин без племени... За которым началась охота.

— А я сам не хочу поохотиться на уйгурского князя, и предлагаю сходить в ночь на удачу. Не хочешь, нам разреши.

— Хочешь, не хочешь... Вместе пойдем. С десятком. Остальных оставим в барханах, — оставаясь вялым и грустно-задумчивым, произнес Гудулу.

— Нас не ждут, все пойдем, заменим коней! — закричали дружно и в голос.

— Все пойдем, — легко согласился Гудулу и поднялся с попоны, на которой устало сидел усталым и вроде бы нерешительным.

Он не ставил задач, он сказал, когда нукеры оказались в седлах:

— Пусть покрепче уснут, Начнем на рассвете с разных сторон. Выбирайте сначала коней, потом курджуны с водой и припасы. На север, на север! Поскорей из песков. Там жизнь, там наша прежняя родина. Нам пора на Орхон.

Подобного нападения уйгурский князь не ожидал, вылазка удалась, в дряблой серости утра тюрки умчались дальше в пески на более свежих уйгурских конях, прихватив, что удалось, но князь не сдавался, у него появлялись свежие резервы и он упрямо шел следом.

Южно-алтайские склоны гор и привольные степи оставались недосягаемыми, в песках опять установилась жара. Не хватало главного — воды коням. Только бы воды! Не выдерживая, кони падали иногда прямо в скачке, нукеры, настигаемые уйгурскими всадниками-тенгридами, погибали бесславно.

На глазах! Захлебываясь прощальным беспомощным вскриком.

Вздев на пику очередную срубленную голову тюрка, преследователи потрясали ею победно, и тутуну казалось, что волосатая голова, похожая на

копну почерневшего сена, на уйгурской пике продолжает гневно кричать, взывая к безжалостной мести.

Но уйгурский отряд князя Тюнлюга был и спасением, давая при возникающей острой необходимости самое важное, пока тюрок было не меньше двух десятков.

При этом как сам тутун, так и его сподвижники проявляли невероятную изобретательность, чтобы проникнуть в лагерь, схватить на скаку, что плохо лежит, удачно уйти. Они нападали, зная, что их ожидают, но, проявляя бесстрашие, все-таки нападали. Ночь, только ночь была им верной союзницей.

Дневная жара не спадала. Идти вглубь пустыни было бессмысленно. Редкие кочевья, встречающиеся на пути, пугались дикого разбойного вида отряда бродяг, мечущегося ошалело в пустыне. Не в силах помочь чем-нибудь особенным, пастухи иногда позволяли лишь поменять уставших коней.

Почти месяц длилось это безумно жестокое испытание преследований и встречных ночных вылазок, посильное крайне немногим, в конце концов, закончившееся выходом за пределы пустыни, где началось другое. Теперь их ловили несколько сотен, включая сотню самого Баз-кагана.

Пытаясь прорваться в чернь, где встретил

разбойничью шайку, Гудулу скоро понял, что уйгурский князь угадывает его план; Тюнлюг-преследователь был не только безмерно зол, захвачен желанием поймать ненавистного тюрка, он оказался достаточно умен, предусмотрительно перекрывал поредевшему отряду тутуна самые важные пути.

Другой степи, кроме Орхонской, тюркский предводитель не знал, и не было рядом Егюя.

И Кули-Чур прежде не бывал в Орхонских степях, Кули-Чур знал Саяны, северные земли орды Баз-кагана, он говорил: «Пойдем краем Саян, через владения знакомого тебе нойона Биркита, в моем огузе нас никто не выдаст... Или уйдем за перевалы к Байгалу и курыканскому алпу Аркену, дорогу я знаю».

Предложение нукера было здраво, вполне осуществимо, но, поколебавшись, тутун его не принял, не решился бросить, не выяснив судьбу скитающегося, может быть, в надежде на встречу Егюя. Земля у Байгала была ему чуждой. Как и молодой вождь курыкан.

На степь легли ранние холода и в предчувствии зимы, первого снега, когда каждый шаг по ней станет зримым, Гудулу принял последнее, самое отчаянное решение.

Он объявил, собрав у костра остатки отряда:

— Утром разделимся. Со мной останутся

двое. Остальные — берите выносливых коней, уходите в Алтынские горы. Лучше на ту сторону, за перевалы. Кто уцелеет, весной буду ждать... если сам уцелею. Прощайте!

Никто толком не понимал, почему тутун остается на зиму в предгорьях, почему не хочет залечь в каком-нибудь безопасном глухом урочище, как не понимал его Кули-Чур, вызывая досаду.

А Егюй понял бы сразу...

Не поняв... понял бы.

Без Егюя с Изелькой Гудулу было непривычно. Во всем, все раздражало. Особенно, когда нужно было срочно найти что-то в курджунах и сразу не находилось, поскольку что где лежит, знал всегда лишь Егюй.

— Гудулу, зима в степи — не в Китае, пропадем ни за что, Гудулу... Егюй едва ли придет, — попробовал образумить его Кули-Чур.

— Никого не держу, уходи, — хмуро повторил Гудулу.

— Что кричишь, я поклялся быть у тебя за спиной. Как уйду? — сердился непонятливый Кули-Чур.

Шайтан иногда умеет замутить разум, железных людей в борьбе с ним не бывает; Гудулу закричал злее namного и безысходнее:

— Я тебе не шаман, чтобы стоять у меня за спиной!

Он зря закричал, потому что шаман Болу был уже мертв, и воспоминание о нем навалилось невыносимой грустью.

Утром, обняв каждого, кто направлялся в новую неизвестность, он обнял нукера Кули-Чура и виновато буркнул:

— Надумаешь, уходи, Кули-Чур, зла не держи. Со мной пропадешь.

* * *

Пробурчав очередную сентенцию, похожую на бурчание, что двум смертям не быть, а врагов всегда больше надежных друзей, о чем тутуну пора знать, Кули-Чур остался, и пожилой добродушный Суван никуда не ушел. Снег на просторах Алтая, Орхона, Саян повалил с вечера, густо-обвально, спустя несколько дней, как распрощавшись с отрядом, остались они втроем. Зима упала значительно раньше обычного, в одну ночь. Было тихо, безветренно, удивительно тепло, что радости не приносило. Поднявшись узкой козьей тропой на гору, в ранее облюбованную пещерку под нависшей скалой над обрывом, Гудулу спешил первым, глухо сказал:

— Зима началась, Кули-Чур.

В возгласе было много печали и бесконечных тяжелых раздумий, не покидавших его с той поры,

как они вырвались из окружения, но говорить о них вслух было не в его правилах.

— Суван! Суван, коней заведи под скалу, в затишье, нам здесь подойдет! — прикрикнул Кули-Чур на пожилого спутника, подхватившего поводья коней.

— Лошадь хороша, когда на ней скачешь, но лошади нужен корм, — сказал не без прямого намека рассудительный Суван, поставив мокрых коней под каменный козырек, куда приказал Кули-Чур, и заботливо накрывая попонами.

Суван был в годах, по-особому кривоног и тяжеловесен, острые колени при ходьбе сильно выпирали, точно для пешего хода не были предназначены, медлителен и неповоротлив. Смуглое, остроскулое, обветренное лицо, должно быть, не умело хмуриться и наполняться злобой, оставаясь покладистым и благодушным. Такие редкие люди всегда приятны абсолютным внешним беззлобием и почти не замечаемы другими. С ними удобно, когда они есть, но и без них никому не в тягость.

Гудулу и Кули-Чур сидели на камнях, откинувшись на скалу.

Суван опустился перед ними на корточки, неуверенно предложил:

— Может, разложить костер?

— Кажется, куда-то приехали, — Гудулу

оставался в себе, говорить ему не хотелось. — Будем спать, утром решим остальное, — произнес, помолчав, как исполнил важную обязанность, добавив порезче и строже: — Хорошо, снег заметает следы... Спать, спать, я устал!

Сон, в понимании кочевника, не столько потребность, сколько необходимость. Он всегда насторожен и чуток, редко бывает беспробудно продолжительным. Суван и Кули-Чур, словно заранее сговорившись, часто поднимались по очереди, ходили к лошадям, с тревогой вслушивались в ночь, полную обвального снега, подолгу стояли над обрывом. А тутун, как мгновенно уснул на камне, позволив подстелить под себя свернутую овчину, укрывшись тулупчиком, так и проснулся, не шевельнувшись за ночь.

— Зима, Кули-Чур, — произнес он те же слова, с которыми засыпал, смахивая снег с груди и встряхивая тулупчик, медленно, вяло поднялся.

Спутники его не слышали. Они лежали на входе в пещеру под слоем снега.

До самого горизонта было белым-бело. Да его, как такового, точно не существовало — этого горизонта, он сливался в слепящей белой дали с белесой пустой невесомостью.

Повздыхав, отхлопавшись от снега более тщательно, подув на замерзшие руки, Гудулу

покачал ногой один заснеженный бугор, потом другой:

— Вставайте, кони замерзли.

Бугорки зашевелились, услышав человеческую речь, подали признаки жизни кони, забрякав удилами.

— Спешись куда-то, тутун? — Голос был Кули-Чура.

— Много упало! Как много упало! Что будем делать? — Из бугорка рядом с Кули-Чуром показался заспанный, слегка вспухший Суван.

Похлопывая себя, чтобы согреться, и продолжая по-бабьи охать, он скрылся под навесом скалы, где стояли заиндевелые кони.

— Ты не ответил. Следы на белом слепому заметны, дальше куда? — спросил ворчливо Кули-Чур.

Широко расставив ноги, скинув кожаный нагрудник и растирая лицо снегом, Гудулу вдруг весело произнес:

— Если не спешить на тот свет, придется немного выждать... Ха-ха, немного совсем, до весны! — Он странно, непонятно для Кули-Чура рассмеялся.

— Мы ходим, ходим по кругу, таская на хвосте то сотню Баз-кагана, то уйгурского князя... Ты все ждешь, что кто-то придет? — осторожно, как если бы подразумевалось запретное для

произнесения вслух, спросил Кули-Чур.

— Да кто придет, никто не придет, пришли бы давно, — заговорил Суван, появляясь из-под скалы.

— Егюй — опытный воин, погибнуть не мог, — сказал, как отрезал, Гудулу.

— Тутун, он с мальчишкой! — недоуменно воскликнул Кули-Чур.

— Егюй всегда был с Изелькой. Под Изелем хороший конь, — неуступчиво произнес Гудулу.

— Гудулу, Егюя могли схватить, князь Тюнлюг не глупец. Мы отрываемся, куда-то уходим, но уйгуры опять на хвосте! Исчезнем — они снова находят, — ворчал Кули-Чур. — Нас только трое, Гудулу! Трое, а было почти три десятка! Упала зима, каждый след на виду! Сам говорил: затаимся в лесу; найдем глухомань с медвежьей берлогой и затаимся.

— Егюй не найдет, как он узнает? — Тутун был упрям.

— Живой — найдет! Был бы живой!.. Как зайцы: по кругу, по кругу!

— Мы здесь уже ходили, Егюй знает, как я пойду! — Голос тутуна сохранял непреклонность.

Не решаясь на иной протест, оставаясь неудовлетворенным, Кули-Чур продолжал ворчать:

— Когда ты упрямый, с тобой лучше не говорить, все забываешь.

— Не держу, уходите. Как те... кто ушел, — в

сердцах бросил опять Гудулу.

Обидевшись за бывших единомышленников, ни в чем тутуну не изменивших до последнего часа, Кули-Чур укоризненно буркнул:

— Никто не ушел, Гудулу, одних ты прогнал, другие — на пиках Тюнлюга.

Гудулу невольно смутился.

...С Кули-Чуром ему было намного трудней, чем с Егюем; не в силах понять его чувства и настроение, Кули-Чур утомлял больше меры. Егюй слышал его, угадывал самые незначительные желания, был заботлив, внимателен и немногословен; Егюй умел, когда надо, молчать, а этот всегда спешит показать, что у него есть язык.

При этом... большо-ой, что вызывало особенную неприязнь и раздражение!

Смирив несправедливый гнев, Гудулу сердито гукнул:

— В дальнейшем оставь свою болтовню при себе, Кули-Чур... если хочешь идти рядом... Даже когда моя речь опережает мое сознание.

Кули-Чур недовольно нахмурился:

— Хорошо, Гудулу, попробую. Впереди много всего, сам не спеши.

— Я сказал — ты услышал... А я тебя услышал, с тебя хватит. — Гудулу сохранил твердость в словах и твердость взгляда.

Он выбрал это, не очень вроде бы выгодное

убежище в скалах над отвесно крутым обрывом, падающим вниз, в долину, поросшую саксаулом и разным кустарником, исходя из собственных убеждений, ни с кем не советуясь. И теперь, когда выпал снег, и окончательно можно было понять, правильно или неправильно он поступил, осмотревшись бегло, Гудулу неуверенно произнес:

— Не будем высовываться без нужды, останемся незамеченными. Тебе предлагаю, Суван... Пожилой, похожий на табунщика... Ты тоже должен уйти, Суван.

— И Суван больше не нужен? — растерялся нукер.

— Нужен, ты знаешь, где мы остаемся и будем здесь долго. Наверное, до весны. Ищи пастухов, кочующие табуны, собирай новости. Говори: весной появится тутун Гудулу старого тюркского рода, хорошо известного на Ольхоне; у него много воинов, готовьтесь пристать, чтобы рассчитаться за наших убитых отцов и матерей, уведенных в неволю. Прояви осторожность, прежде чем высовывать болтливый язык. Прикинься, что умирал на морозе, отстав от какого-то каравана. Сходи в урочище к шаманке. Узнав, что там, снова вернись. Иди, Суван, я не могу... бросить Егюя.

— Мой язык снова впереди моей мысли, но ты, Гудулу... — Кули-Чур не справился с тем, что хотел сказать, захлебнулся, закашлял.

Тутун и Суван рассмеялись.

— Гудулу, я исполню приказ, к новой луне вернусь, — помолчав и подумав, произнес пожилой нукер.

— Не спеши, будем ждать в следующей луне. Уходи, пока падает снег. Он засыплет следы.

— Да сохранит тебя Небо, тутун! И тебя, Кули-Чур! — Суван поклонился каждому из товарищей.

— Коня возьми любого, — глухо гуднул Гудулу, опустив глаза в небольшой костер, обложенный высокими камнями.

— Взял бы, но не возьму, — потупившись, ответил просто Суван.

— Жакши, зима длинная, нам лишний конь пригодится. Жакши! Начни с распадка, который за саксаульником, давно за ним наблюдаю, там кто-то должен бы зимовать. Хороший распадок. Но не задерживайся, не стоит, что бы кто-то тебя заметил. Не прямо спускайся, сначала по склону, на дальний край долины. Следов на снегу поменьше оставляй. Видишь, осыпи, камни? — Гудулу показал рукой путь, предлагаемый нукеру.

— Пойду осторожно, я понял, тутун, — ответил Суван, перевязывая понадежнее грубые кожаные обутки из плохо обработанных лошадиных шкур, порядком истертые стремянами, что-то перекладывая в небольшом курджуне и

примеряя его на спине.

— Внизу не забудь оглянуться. Наш дым заметишь, выходит, и другие видят. Плохо, кто там такие?

— Плохо, — согласился Суван.

— Спрашивать станут, говори: встретил странника с черной болезнью, наверное, он зимует.

— Я дам сигнал, разожгу небольшой костер. — Суван показал на далекую скалу у входа в лесное урочище.

Как только Суван, соблюдая возможные предосторожности, скрылся из виду, Гудулу обернулся к оставшемуся с ним нукеру и глухо бросил:

— Без корма лошади быстро худеют, Кули-Чур, начнем с лошадей.

Кули-Чур его понял, поскольку Гудулу назвал коней лошадьми, согласно кивнув, спросил, стараясь не выдать волнение:

— Сразу забьем всех?

— Пока две. Тебе шкура и мне, — тутун усмехнулся.

Остальное они совершали со знанием дела, в полном молчании.

С помощью аркана, привязывая его к передней ноге, завалив и покончив с лошадьми, они обвернулись каждый сначала кошмой, потом дымящейся шкурой так, чтобы мех оказался

вовнутрь. Дожидаясь пока кожа затвердеет на морозе, легли на снег в этих коконах, расширяя их, насколько возможно, руками, локтями. При этом Кули-Чур продолжал беспокойно ворочаться. Словно внимательно вслушиваясь, не желая пропустить, не отдаст ли Гудулу новое распоряжение, отменяющее претворяемое. Передумает вдруг и отдаст — нельзя не услышать! А тутун, как лег, так снова не шевельнулся.

Получилось убежище — как нора. Они занесли, каждый свое, под скалу, в нишу, засыпали снегом, хорошо утоптали.

Затем принялись за разделку туш.

— Осталось дожидаться весны, Кули-Чур, — произнес Гудулу в сумерках, когда дело, намеченное на день, было закончено, и первым полез в конуру, высланную кошмой.

Наконец можно было подумать, что с ними случилось и что может быть.

И никто, ни одна живая душа не будет ему очень долго мешать.

Может, быть, целую зиму...

КАЗНЬ НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

— Спешите! Казнь на Дворцовой площади, где подобных казней не было давно! Повелением императора Гаоцзуна и Великой У-хоу сегодня

будет казнен отсечением головы злобный тюрк, старейшина князь-ашина, вождь возмутителей спокойствия в Шаньюе, Ордосе и Алашани! Его засушенная волчья голова будет выставлена во Дворце Предков, но вы увидите, как она истекает последними каплями крови! Спешите, чтобы увидеть и рассказать своим детям! — зазывно кричали конные и пешие глашатаи, внося оживление и переполох в обычную душно-пасмурную утреннюю тяжесть столицы, зима которой еще не достигла.

Зрелищ подобного рода в столице хватало, а казнь отсечением головы — в Китае не любили строить громоздкие виселицы — была доступна всякому любопытному зеваке почти каждый день. Но не на главной площади и не дерзкого возмутителя покоя тысячелетней державы, о котором шепчутся в страхе второй год, помня, что ханы Степи не однажды поили в реке Вэй, омывающей крепость Чаньань, своих диких потных коней.

Огромная площадь была оцеплена императорскими гвардейцами в мохнатых шапках и отборными солдатами дворцовой дивизии в блестящих латах, с грозными искривленными алебардами, что лишь умножало величественность необычного торжества. В середине возвышался массивный помост, соорудившийся несколько дней

из бревен и толстых плах, также окруженный кавалеристами в начищенных до блеска бронзовых панцирях и шлемах, с длинными хвостатыми пиками. На помосте мрачным изваянием каменно возвышался широкоплечий палач в пурпурном шелковом балахоне и черной маске. Он опирался на длинную прямую рукоять топора с широким блестящим лезвием пальца в три, внося невольный страх стайке мальчишек, прибежавших первыми.

Скоро потянулись ночные бродяги, другие бездомные дети, с рассветом, раньше ленивых собак, обследующие помойки и свалки богатых владений, девицы расхожего толка, дюжинами выпархивающие из ночных питейных лачуг и, создавая свою любопытствующую суету среди редких прохожих. Повалили многопестрой гурьбой поскучевшие торговцы, менялы, продавцы жареных бобов, лепешек и пирожков с начинкой из риса, яиц и лука, торговлю которыми приказано было на время свернуть. За ними последовали второразрядные чиновники и простолюдины. Наконец застучали колеса карет, кибиток, возков, зацокали копыта коней зажиточных горожан и знатных особ, пожелавших немного развлечься, появились толпы монахов, закончивших утренние служения в пагодах и прочих молельных заведениях.

Привычные ко всему, в том числе, наряду с

казнями, и к шествиям разного рода, карнавалам, торжественным выездам двора в дни жертвоприношений предкам за городом, горожане переговаривались о том, в первую очередь, насколько князь из Степи дикарь и за что какому-то тюрку настолько высокая честь. Исполнение императорского смертного приговора на площади, где подобного действительно давно не случилось, в обывательском понимании чаньянцев, искушенных многими казнями, являло собой очень высокую честь. Мало, что ли, грязному тюрку деревянной колоды на мосту через Вэй?

В разномастной многоликой толпе всегда находится знающий больше других, и кто-то, презрительно фыркая, спешил сообщить небрежно, что казнь старого князя Ашидэ-ашины — только начало настоящей расправы над побежденными дикарями в песках Алашани. Что под стены Чаньяни согнаны тысячи пленных, ожидающих жалкой участи. Что среди них немало других знатных бунтарей, которым, наверное, здесь же, на этом помосте, целый месяц будут рубить грязные головы.

— Вот забота — тысячи тюрок! Закопать в землю, если так много, и делу конец! Время только теряем, — возмущались в толпе.

— Кровью потом долго пахнет, собаки ночами воют.

— А что говорят монахи? «Далеко нам до царства покоя, — говорят они. — Тюрки среди тех, кто пытался помешать великому царствованию Поднебесной! Их смерть на наших глазах для того, чтобы сохранилась в памяти поколений!»

Утро оставалось пасмурным, затянувшееся ожидание в одних только усиливало праздную остроту ощущений, других утомляло тяжелым бездельем. Но толпа есть толпа. В ней, бездеятельной, мечутся токи буйства скрытой стихии, возникает особое напряжение. Толпе уже не терпелось увидеть этого злокозненного тюрка-вождя, о котором толком среди них мало кто знал, насладиться острым, щекочущим нервы зрелищем, и то, что ей вскоре предстало, когда князь появился, вызвало досадливое недоумение. Окруженный солдатами в панцирях, с алебардами и офицерами с обнаженными саблями, князь выглядел немощным и невзрачным. Он шел медленно, пошатываясь из стороны в сторону. Запруженная людьми площадь тысячеголосозревела мгновенным единым презрением к тюрку-врагу, но, не в силах не увидеть, насколько князь изнеможен и стар, вроде бы смутившись, понемногу притихла.

Где-то засвистели и разочарованно заулюлюкали.

Князь шел осторожно, как ходят слепые. Он

был седой и взлохмаченный, зная, что с ним должно скоро случиться, пытался выглядеть достойно чина и положения. Выравнивая шаг, стараясь унять трясущиеся голову, руки, он становился только смешнее, походил на шута, вышедшего позабавить толпу городских бездельников, сбежавшуюся поглазеть на очередное развлечение.

Когда процессия приблизилась к ступеням помоста, в дальнем углу площади, под старым раскидистым деревом остановилась ничем не примечательная черная карета, принесшая беспокойство и стражам и палачу. Из кареты никто не вышел, но по толпе прошел тихий, как ветер, шепот.

— ОНА? — спрашивали в испуге одни.

— ОНА, — в не меньшем испуге отвечали другие.

— Эта черная карета у НЕЕ, чтобы выезжать на важные казни, — подтверждали третьи.

Офицер, поддерживающий незаметно князя под локоть, выпустил на мгновение и с первого шага князь не попал на ступеньку, оступившись, невольно сконфузился. Стражи подернули его за цепи, подпихнули на первую ступеньку, на вторую и подняли на помост — сам, пожалуй, он бы ни за что не взошел.

Наверху, неожиданно почувствовав под

ногами опоры, тюркский князь снова едва не упал, что вызвало в толпе напряженный и нервный смех, и будто вскрик, а рядом с помостом возникло движение. Высокий человек с капюшоном на голове, рванулся к помосту, расталкивая толпу, но другой, одетый схоже, ухватив за руку, удержал.

— Отпусти! Отпусти! — возмущенно и нервно вырывался виновник неожиданной суеты. — Как он состарился, Тан-Уйгу, невозможно узнать!

— Успокойся, держись, я говорил, он плохо видит, почти не слышит!

— Тан-Уйгу, ты обеща-ал... Как я хотел встретиться с ним!

— Не называй никаких имен, не привлекай внимание. Ты не выдержишь, лучше уйти, не находишь?

— Уйгу, Уйгу, он мой отец!

— Прошу, кругом соглядатаи, не надо имен!

На князе разорвали одежду, сдернув до пояса, как сдергивают шкуру с барана, и толпе предстал жалкий, немощный старичок с трясущимся посиневшим телом и выпирающими остро ключицами. Когда ему стали связывать руки, заломив за спину, по толпе прокатился легкий смешок и презрительные выкрики, доставив новое сильное беспокойство высокому человеку в капюшоне.

Князь вел себя тихо и терпеливо-покорно, пробовал натянуто улыбаться, представить его грозным, размахивающим саблей, рубящим направо и налево головы, было невозможно, и толпа разочарованно молчала, как будто чего-то недопонимая.

— Собаке собачья смерть! — крикнули нервно и злобно в толпе у помоста, умело возбуждая разочарованных зевак.

— Он волк, не собака! У них на знамени злобная волчья пасть! — охотно подхватили по другую сторону помоста.

— Смерть тюркам-собакам! — визгливо закричали рядом с каретой.

Чтение приговора было коротким и торопливым, словно бы судебный чиновник спешил куда-то: тюркский князь Ашидэ за поднятое возмущение в Шаньюе и Ордосе приговаривался высоким императорским судом к лишению прежних чинов, привилегий и благородной для князя смерти — отсечению головы. Его княжеские владения в Ордосе передавались именным указом победителю кампании генералу Жинь-гуню.

— Победитель — Жинь-гунь? А Хин-кянь? Разве тюрков разбил не Хин-кянь? — удивлялись в толпе.

— Помолчи, сам ты... Хин-кянь!

Князя поставили на колени. Высокий

широкоплечий палач в черно-красном одеянии положил на толстый чурбак поудобнее для себя его голову с ничего не видящими глазами и беззубо раззявленным ртом, потянулся к секире с длинной рукоятью.

— Вот бунтарь! Бунтарь беззубый! — не выдержав, засмеялись за спиной у Тан-Уйгу.

— Зато тюрк!

— Смерть собакам!

— Нашел собаку! Мятежник, ха-ха!

Смерть мгновенна: топор палача поднимается, может быть, медленно, а падает стремительно, выпуская из грубого тела в вечный полет душу казнимого. В потустороннюю бесконечность, в которую живому никогда не проникнуть. И нет, и больше не будет для нее страданий; в невесомый дым превратится прошлое и уже не родится в неповторимо великом хранилище разума самое ничтожное желание погубленной плоти. Никто не знает, как душа расстаётся с телом, кто больше в трепете и смятении при этом — душа или тело. Совершив сотни казней, не понимал и палач, но уверенно знал, что душа умирающего от его руки ему неподвластна. Его топору подотчетно лишь тело, которое он убивает мгновенным ударом, расчлняя только зримую оболочку огромной неосязаемой сути Великого и Божественного.

Томящаяся смертью убежища-тела душа

палачу неслышна в своей крайней страсти, пусть улетает, душу казнить невозможно. Великие учителя древности утверждали, что живые тела и объекты существуют не абсолютно, а лишь относительно и в том сознании, которое их воспринимает. Но законов существования относительного и абсолютного множество, приговоренный к смерти, сам вправе решить, куда он последует, завершая жизненный путь в земной оболочке. И там, куда он последует силою собственных устремлений, в Высшем Мире астральной природы осознанного и неосознанного, условно называемой Сферой Мысли, пребывание его будет коротким или продолжительным исходя из того, чем была его жизнь в земной оболочке. Именно здесь, покинувшие земную обитель нравственности и пороков, способны подняться выше простых физических ощущений, воспринимая радость гармонии сфер, обретая общения с Ангелами, и наполняя свою чашу дальнейших познаний. Вот почему Мудрость требует благородства еще при той жизни, которая случается на Земле, не дожидаясь следующей, при посмертном существовании...

Палачом был императорский страж-евнух Абус — так пожелала сама Вседержительница. Абус провел ночь в молитве, прося у богов снисхождения к себе, не имеющему ни зла, ни

презрения к важному тюркскому князю, и не сомневался, что душа смертника всегда в устремление к Божьему вечному Свету и поиске желанного очищения, по-другому она не живет. Что, после удара его топора, через страшную рану она изойдет, истечет, никому не давая отчета, лишь сотрясая жалкое тело мгновением судорог.

Абус многое знал, многое понимал, скрадывая последние тягостные минуты одиночества уходящего императора, нуждающегося в сокровенных беседах о страданиях и чувствах людей. Но император поздно задумался об этом и был не в силах помочь ни себе, ни здравому смыслу, уничтоженному той, кому он доверил всю власть.

«Разум, как луна, полный и одинокий,
Его свет поглощает десять тысяч вещей.
Не то, чтобы Свет освещал Поле,
Не то, чтобы Поле существовало,
Просто Свет и Поле забыты,

А что позади?» — чаще других и настойчиво-неоднократно произносил умирающий император изречение Третьего Патриарха, посвященное «верящему разуму», словно находя в этом спасительное оправдание своим безликим делам и поступкам в отличие от мудрого родителя,

создать что-то полезное для Китая, — Какое бы название мы не давали высшей природе — «свет», «разум», «зеркало», «совершенный Путь», — говорил он пересохшими болезненными устами, — постичь ее можно только выйдя за пределы «отбора и выбора», куда улетает душа умирающего... Разум как пятна на поверхности зеркала; когда грязь устраняется, свет начинает сиять и Высшая Природа видимого раскрывает свои глубинные тайны...»

Умиравший император это одно, завершающий путь на деревянной императорской колоде под его топором — другое; Абус на них посмотрелся. Этот был жалок, неинтересен, к смерти совсем равнодушен. Такие бесстрастно живут и умирают, не выразив последнего гневного возмущения, подобных палач жалеть не умел. Непринужденно, привычно вскинув топор и опустив на дряблую шею старейшины-князя, палач шумно выдохнул, жестокая работа его завершилась, почти без усилий.

...Палач шумно выдохнул, но его шумный «хык» не смог заглушить мерзкого хруста шейных костей, слившегося с долгим шипением, которое еще исходило из обезглавленного в долю мгновения старого княжеского тела.

В толпе, где стояли два человека в капюшонах, слышалось что-то похожее на

тягостный стон.

— Его больше нет, Уйгу! — Один из капюшонов затрясся, упал на другой.

— Пойдем, к нам прислушиваются, ты говоришь громко... Уходим, — поспешно сказал Тан-Уйгу, решительно раздвигая толпу.

— Куда? Никуда не хочу! — сопротивлялся назвавший князя отцом, но сопротивлялся не настолько сильно, чтобы с ним нельзя было справиться.

Палач поднял за длинные седые волосы голову князя — что так же входило в его иезуитскую работу, — вяло потряс, показывая толпе, заставляя собравшихся на площади снова бесчувственно и дружно взречься.

— Зачем пригоняют увидеть насильственную смерть тела? — воскликнул сын князя.

— Отвернись, не смотри, — произнес Тан-Уйгу, силой разворачивая своего спутника и пытаясь вывести из толпы.

Сквозь толпу к ним пробирались две подозрительные фигуры, и Тан-Уйгу, цепко взяв князя под локоть, властно сказал:

— Уходим, уходим!

— Отпусти, — сопротивлялся молодой князь.

— Уходим, — не сдавался гвардейский императорский офицер.

Подержав навесу голову, с которой

продолжало капать, под крики и улюлюканье, непонятно что выражающие, палач бросил ее в корзину.

— Он бросил ... в корзину? — спросил княжеский сын.

— В корзину, — ответил Тан-Уйгу, изо всех сил работая локтями.

Толпа поредела, Тан-Уйгу сдернул с головы капюшон и сердито проворчал:

— Казни продлятся до самой зимы, Ючжи! Князя Фуняня везут, Выньбега! Потом начнут придумывать тюркские заговоры в самой Чаньани. Тебя... Не замечаешь пока ничего? Слава Небу, шаман умер собственной смертью! Вон, хочешь, зайдем и как следует, выпьем? — Тан-Уйгу показал рукой на аккуратную китайскую питейную с красными бумажными фонариками на входе.

Резко сбросил капюшон со своей головы и сын казненного князя. Это был молодой человек с тонкими, выразительными чертами лица, искаженного пережитым ужасом. Он был дьявольски красив. Его черные глаза бессмысленно и потерянно метались, а повышенная нервная возбужденность словно застыла ужасной обезображивающей гримасой. Губы его тонкие, сместившись одна относительно другой — ставшие безвольными, синими, точно им было холодно, — мелко тряслись. Вздрагивал нерв на щеке, под

левым ухом, и шевелилось все красное ухо. Глаза в узких прорезях век будто плакали, наполнялись слезами, и тут же в них возникала мгновенная и летучая ярость. Он был слаб и мог быть не слабым. В нем все управлялось не единой силой воли владеющего собой человека, а внезапной стихией сразу многих чувств, свобода которых в подобных случаях никем и никогда особо не ограничивается.

— Пойдем... как следует, выпьем, — произнес он глухо, безотчетно повторяя слова Тан-Уйгу, и согласно тряхнул длинноволосой головой.

Они вошли под бамбуковый навес, где на циновках рассаживались другие посетители, вяло обсуждающие казнь степного князя, огляделись в поисках укромного места.

— Да разве он тюрк, этот жалкий старик, — громко рассуждали о князе, — ты тюрков не видел!

— Не видел? Вон, оглянись, они на каждом шагу! — И спорщик, не испытывая неловкости или смущения, вызывающе ткнул пальцем в сторону Ючжени и Тан-Уйгу.

Подобное отношение к себе в чуждой среде встречает любой инородец, Тан-Уйгу давно к этому привык, его сознание давно уже не реагировало на подобные выпады, не заострялось негодованием или ответным презрением. А княжич вдруг замер, как-то взъерошился, и в таком состоянии мог

совершить необдуманый поступок. Тан-Уйгу взял его плотно под локоть, движением головы указал на дальний угол с пустующей циновкой и маленьким столиком.

Выделив новых посетителей в чиновничьих одеяниях, как непривычных для своего заведения, заслуживающих особого уважения, к ним подбежал расторопный хозяин и, получив сердитое приказание Тан-Уйгу, увлек за собой.

— Есть, где спокойнее! У меня почетные гости бывают! У меня хорошее заведение, свежая рыба и нежная птица фазан! Танцовщицы! Фаршированный крупный удав, черепаховый суп, змеиные языки! Что прикажете приготовить? Музыкантши из школы искусств! Музыка-аантши! — повторил он многозначительно как пропел. — Молодые совсем прелестницы сада удовольствий, — впустив посетителей в тесную каморку с выходом на просторную площадку для представлений, рассыпался в любезностях крупноголовый китаец с модной косичкой на бритом затылке.

Отдав хозяину новое строгое распоряжение, свидетельствующее, что пришли они не ради его уличных соблазнительниц, Тан-Уйгу, шумно вздохнул:

— Не знаю, Ючжи, что случилось, вчера во дворце речи о князе не шло, говорили о пленных,

которые рядом с Чаньянью, обсуждали торжественную встречу генерала Жинь-гуня. Я дважды встречался с Сянь Мынем, он словом не обмолвился о казни, а утром... Ючжень, не сердись, я не смог, в последнее время Сянь Мынь мною не очень доволен.

— Увидеть его... Я увидел, спасибо, Уйгу... Он, правда, оглох и ослеп?

— Глухим его привезли, потом князь ослеп.

— Ты говорил, он сожалел, что поддался Фуняню и Нишу-бегу. Почему сожалел?

— Он так сказал, отвечая на вопрос монаха, почему не пошел вместе со всеми в тюркскую Степь за Желтую реку. Он сказал: надо было пойти с шаманом Болу не в пески, заложить новое поселение, а вывести всех на Сленгу и Орхонский простор, Поддавшись напору князя Фуняню и Нишу-бега, позволив столкнуться в сражении с генералом Хин-кянем, он погубил свой народ.

— Отец был слишком стар, Уйгу.

— Стар? Твой отец, Ючжень Ашидэ, был сильный князь, военное дело знал. Встань сам во главе, кто знает, как бы еще оно повернулось! Слышал бы, как он разговаривал с У-хоу и монахом; У-хоу сама спускалась к нему в подземелье!

— Ты рассказывал.

— Князь им сказал, — горячо перебил его

Тан-Уйгу, — он сказал Сянь Мыню: пожар не скоро потухнет, Сянь Мынь, унизив инородцев, вы допустили ошибку. Жаль, Ючжи, на Ордос для тебя дороги больше не будет.

— Что мне Ордос, я там почти не жил, — скучно произнес молодой князь.

— Тебе лучше покинуть Чаньянь хотя бы на время. Всем тюркам будет непросто, но тебе...

— Куда? Куда, Тан-Уйгу? Я на службе империи евнухов и монахов!

Серая тучка накатила на солнце. Нацеливаясь на помост, пошла, поползла, полезла по головам поредевшей толпы, не спешащей окончательно расходиться, накрыла массивное сооружение для казней, исполнителя-палача, опирающегося на топор, и снова, брызнув лучами, осветила и обезглавленное тело последнего тюркского князя из времен императора Тайцзуна, и убийцу в пурпурных одеяниях, широкие плахи, кровавую лужу...

Соблазняясь и обманываясь, сама по себе жизнь мало что может; ею управляют, выстраивая и подчиняя отдельным обстоятельствам, чаще, самые омерзительные распорядители, делая многое беззащитным и бессмысленным. Но другого ведь не дано и едва ли будет доступным...

Немногим, крайне немногим жизнь в наслаждение! Крайне немногим!

Краем площади стремительно удалялась черная карета.

* * *

Смятение не может быть вечным; полное сарказма восклицание молодого князя о чиновничьей зависимости задело Тан-Уйгу, проникло в его холодный расчетливый разум. Всегда считая себя воспитанным для служения Табгачскому государству, как называли северный кочевой Китай и Застенную равнину его соплеменники, он с честью исполнял предназначенное и покорялся всему, что выпало на его долю тюрка-инородца, безропотно приняв, что судьба — благосклонность Неба. Но усвоил он твердо и то, что неизменного в мире нет. И если во времена великого собирателя земель императора и мыслителя Тайцзуна существовали одни порядки, при его сыне Гаоцзуне и У-хоу другие, то с восшествием на трон следующего, пока еще несовершеннолетнего, которому он сейчас непосредственно служит, обучая военным наукам, неизбежны и третьи. Это был стержень всей его рассудочности, для инородца спасительной и обнадеживающей, как легкий приятный туман. Не подвергая сомнениям свои устоявшиеся убеждения, подталкиваемый к надеждам на перемены

хитроумным монахом, он давно и несколько иначе, нежели Сянь Мынь, сделал ставку на юного принца. Это была его великая тайна. Себялюбивая, эгоистичная, но устремленная к цели, обозначенной самим Сянь Мынем как эпоха неизбежных и благодатных будущих перемен, которые непременно должны наступить не без его участия. Он многому научился именно у Сянь Мыня, который, владея всем, готовился и дальше властвовать во Дворце, чтобы не происходило на троне, и немало достиг, избрав этот путь. Осторожные беседы Тан-Уйгу с наследником становились все продолжительнее. У него доставало предусмотрительности, сохраняя необходимую отстраненность от принца, глубже и ненавязчиво проникать в его сердце, готовя доступными себе делами свое потрясение истории — всей истории, подвластной императорам, а не отдельной личной судьбы, чем занят был больше всего хитрый монах.

Не очень доверяя стихии так называемых народных возмущений, которые на самом деле к народу имеют отношение весьма отдаленное, он был уверен, что мыслит утонченнее, а действует созидательней. Волею providения, оказавшись рядом с наследником, он, терпеливый, настойчивый тюрк, используя полезные уроки монаха, содействует принцу по мере своих возможностей

лучше понять недалекое прошлое, стать достойным славы его императора-деда, способствуя этим надеждам на перемены и вдохновению уцелевших приверженцев прежних досточтимых времен, способствуя многим из них возвращению на службу. Обстоятельства ему благоприятствовали, сама мать-императрица, ее тупые фавориты вносили немалую смуту в душу наследника. В живых оставались некоторые старые вольнодумствующие вельможи, князья, бывшие высокопоставленные чиновники, хронисты-историографы и летописцы прежних времен. Их было немного и почти не осталось в Чаньани, уцелел именно потому, что жили в глухих провинциях, заинтересовать юного наследника умом, знаниями, пониманием устройства миров вершителями прошлого, большого труда, заметно не выпячиваясь и не привлекая внимание, для Тан-Уйгу не составляло. Один за другим они как бы случайно появлялись рядом с принцем и попадали под его высокородную защиту.

Нет, служить монахам и евнухам, тупым генералам китайский офицер тюркского происхождения вовсе не собирался. Все шло в едином для него устремлении, соответствовало его собственной логике и логике тех тюрков-соплеменников, с которыми он поддерживал отношения, включая старшего сына казненного

князя Ашидэ, удачно пристроенного на службу в Палату чинов. Главой этого ведомства недавно был назначен опальный вельможа, последний, наверное, из высших сановников государства, склонных к решительным переменам, а юная дочь его, принцесса Инь-шу заинтересовала Сянь Мыня, к чему Тан-Уйгу также удачно приложил свою руку.

Казнь тюркского князя-ашины его сильно расстроила, не ожидая такого конца этой незаурядной судьбы, он к подобному совсем не готовился, почему-то уверенный, что у князя достаточно при дворе серьезных покровителей, и почти не готовил его сына. И сейчас молодой князь Юджи раздражал его не тем, что изливал в отношении китайцев, а тем, скорее, что сам еще мало что значит... если вообще что-нибудь значит. Так о чем, о каком государстве монахов кричит этот молодой отпрыск приличного тюркского рода, не сделавший пока ровным счетом ничего даже для собственного благополучия? Как же глупы они все — его чаньяньские соплеменники, живущие на коротком поводке у странной судьбы, слизывая с чужих подносов чужие подачи! Пугаются того, что в Степи, и недовольны происходящим с ними в Китае, живут каждый маленьким личным, а мечтают о чем-то несбыточно общем...

Не устраивает У-хоу, властвующая над Гаоцзуном? Такое, когда женщина становится

сильней законного правителя, не однажды случилось, и горький час У-хоу еще наступит. Монахи достигли всесилія? Но были всесылны и евнухи и генералы — у каждого власть предержавшего свои пристрастия и свои начала. Уметь выстоять, уцелеть, не потеряться в безумстве свершений — есть обычная житейская хватка, а способность что-то переиначить, исправить, изменить в самые глухие времена на пользу разума и самого человеческого процветания — высшая мудрость. И он, по сути, безродный тюрк Тан-Уйгу, постиг ее... не без помощи того же Сянь Мыня. Он, всего лишь скромный наставник по боевым искусствам восходящего на трон, делает для будущего больше, чем десять восстаний, похожих на только что захлебнувшееся в крови.

Подобно молодому князю, опасаясь последствий, он редко встречался со своими чаньяньскими соплеменниками. Они были ему малоинтересны. А те, на окраинных землях, дружно поднявшиеся за тюркскую честь, оказывались малодоступными. Ощущая свое одиночество, пустоту вокруг, Тан-Уйгу становился раздражительным, как невольню повел плечом в ответ на проявленную юношей обреченность, дав невольный простор тяжелым рассуждениям, взорвавшим его. Теплое рисовое вино напоминало пойло, Тан-Уйгу поморщился, выпив новую пиалу,

но опьянение не наступило, голова сохраняла ясность и навязчивую обеспокоенность. Идти никуда не хотелось, тем более во дворец, не хотелось видеть сейчас принца-наследника и пропало желание дальше оставаться с Ючженем.

— Не верю, что там все утихло, — произнес Тан-Уйгу глухо, признаваясь горячечным шепотом в самом сокровенном. — Больше не верю! Не может тюркская Степь, однажды воспрянув, так вот затихнуть!.. Знаешь, я жалею теперь, что не ушел. Немного бы еще... Я бы ушел, клянусь!

Его знобило, он верил, о чем жарко шептал. Перед глазами мелькала река, наполненная телами, раздвигающими льдины и пропадающими в пучине, монах Сянь Мынь, насмешливо утверждающий, что народа тюрк больше нет, наследник, предлагающий ему называться китайцем.

— Последнее, что помню, посылая в Чаньань, отец сказал: все равно мы дети Степи, не забывай, Ючжи. А его больше нет, — продолжал отдаваться воспоминаниям тюркский князь, совершенно не затрагивая наставника принца.

Они жили разным. Юный Ючжень страдал невосполнимой утратой. В нем больно билась горечь ее, терзали собственные страданиями, не желающие слышать не менее тяжелые, живущие рядом.

Молодой князь был удручен, действовал

угнетающе, подавлял беспомощностью; отодвигая чашку-пиалу, Тан-Уйгу устало произнес:

— Да, Юджи, мы дети Великой Степи, но помним ли нашу Степь Великой? Я хотел служить ей здесь и строил свои планы. Я думал так о себе, совершенствовался в этом до тех пор, пока не увидел тупое, бессмысленное сражение на Желтой реке и не увидел жалких, раболепствующих наших тюрок-старейшин. Доставить генералу Хин-кяню голову собственного вождя! Меня поразило не то, что жалкие, ничтожные слуги не гнушаются изменой, а то, что этими жалкими и трусливыми оказались не простые воины, которых я смог бы понять и простить, а старшины и старейшины. Что еще сделать для них больше того, что сделал твой отец — князь Ашидэ, чтобы они вернулись к началу? Такие они, предадут все родное в любой час. Включая память о предках.

У МОСТА ЧЕРЕЗ ВЭЙ

Подобострастно согнувшись, услужливый хозяин питейного заведения шептал в самое ухо:

— Тюрки-мужчины — мужчины горячие! Я узнал тебя, наставнику нашего принца, благодарю, что ты осчастливил мое скромное заведение присутствием. У меня есть особый подарок. Оглянись, достойнейший господин офицер! Тобою

любуются, не скрывая восторга, лучшие в Чаньани тюркские девушки-обольстительницы! У-уу, сколько жажды, огня, а ты еще к ним не дотронулся! Не лишай моих юных красавиц, чувствующих каждый нерв возбужденного мужчины, своих вожелений и сладостных грез. Укажи, с какой господин офицер пожелает уединиться и дозволь ей заняться тобою в меру своего божественно сладострастного мастерства.

От него несло чесноком, приправами, мускусным духом. Отстраняясь невольно и раздраженно, Тан-Уйгу заметил на просторной площадке, вдруг распахнувшей перед ним в глубине шелковые драпировки, похожей на бамбуковые заросли, двух изящных служительниц вертепа мелких утех и соблазна. Появившись, как выплыв, они словно бы изнывали от неутолимых и нескрываемых возжеланий. Их взгляды зовущие, устремленные на него, изливали мягкую негу волшебного тяготения, обещая немислимые удовольствия, просили приблизиться. Хозяин махнул рукой. Полилась легкая струнная музыка. Девушки ожили. Тела их, извиваясь по-змеиному, пришли в единое плавное движение. Всё! Всё в них, наполненное искуснейшей страстью, двигалось и колебалось, открывая только ему тайные прелести, всё оведало его ненавязчивой музыкой чувств и возбуждая горячечной страстью желаний.

— Пусть исчезнут! Закрой! Закрой! — Тан-Уйгу хотел закричать, выразить гнев и страдания души, но вышло вовсе не громко.

Хозяину вполне хватило; поспешно и суетливо, в явной досаде он снова махнул рукой, и шелковые занавеси быстро сомкнулись.

— Оставь нас... Принеси, что у тебя самое крепкое, — глухо сказал Тан-Уйгу.

— Принесу, принесу! Сейчас принесу, — раскланивался и пятился хозяин-китаец.

И скоро на малахитовом столике появились новые наполненные пиалы. Тан-Уйгу жадно сделал несколько крупных глотков, ожидая чего-то свежего и бодрящего, но только смешал тяжелые прежние мысли с новыми, неловкими и непосильными.

...Совершая обычные однообразные круговращения в рождении и смерти живого, история упрямо смеется над человечеством, неизменным в пороках, устремленных к благам и заблуждениям. Она пытается образумить, наставить его, просветить суровыми уроками прошлого. Каждым новым шагом и действием она твердит, что так уже было, но люди, соглашаясь и зная, что было, и было отвратительным, ужасным, делается не лучше и еще менее достойно, они становятся хуже, не желая осознавать, что сами творят не менее ужасное и уродливое. Они перекраивают

законы, развязывают еще более жестокие войны, переустраивают государственную власть и перекраивают государства, надеясь втайне горячечной лихорадочной увлеченности, что с их делами случится иначе и у них получится лучше. Действительно, у кого-то случается по-другому, удовлетворяя завистливую страсть к власти и благам, но эгоизм отдельной личности беспределен. Он притягателен и манящ. Эфемерен и соблазнителен. Другим человек, подвластный обычным, свойственным всякому подобному существу вековым порокам, быть просто не может. Даже в молельне, наедине с Богом, он чаще нечистоплотен, как не надо бы для его грешной души, и отвратительно мерзопаскуден. Подумав так выпренно и пространно, Тан-Уйгу нервно и огорченно вздохнул. Всё утро, всё тусклое и тяжелое начало дня, до неприязни и отторжения он, ощущал грусть и разлад во всем сокровенном, что было его устоями, на которых зиждилось его прежнее многолетнее китайское существование. Казнь князя-ашины словно безжалостно вырвала из него последнюю каплю рассудочности, однако, существенно поколебав, прежних устремленностей и заблуждений полностью не лишили. «У каждого шага есть сотни, тысячи продолжений. Пусть только два, назад или вперед... Они существуют, их можно сделать каждому! Но кто и как выбирает

единственное для продолжения — в этом ведь все! В этом. Переборов, начать и пойти. Какой выбор будет ошибкой, если ошибка случится? Кто будет в ней повинен, кроме тебя самого?» — просто, вроде бы, и убедительно вел с ним беседу его внутренний голос. Он досаждал странным образом, раздваивая его существо на разум и тело. На чувства, как впечатления, и мысли — протрацию в абстрактное и возможное постижение тайн сущего силой собственной логики и объективной возможности. На тех, кто упрямо умирает в песках пустыни, и на тех, кто рядом, в Чаньани, подобно молодому сыну казненного князя.

Снова появился хозяин заведения, маячил, пытаясь привлечь внимание, и не решался приблизиться.

— Что у тебя? — резко спросил Тан-Уйгу, вдруг подумав с неприязнью, которой в нем раньше не было, что за ним, возможно, прислали из дворца от наследника.

— Тюрки... Их гонят вдоль Вэй, — шепотом, как некую тайну, произнес китаец.

— Какие... тюрки? — Тан-Уйгу его не понял.

— Не знаю. Сказали, что гонят большой толпой, я услышал.

— Ну... гонят, так гонят... Что же теперь?

Не придав сообщению китайца особенной важности — в самом деле, мало ли кого теперь и

куда не погонят, — Тан-Уйгу оставался как в налипшей, опутавшей его паутине, мешающей пошевелить рукой или ногой, и не хотел там оставаться. Не являясь настолько знатным, как Ючжень Ашидэ, давно попав под опеку монахов и не зная тех начал, которые привели его, мальчика, в один из тибетских монастырей, Тан-Уйгу всего достигал ненасытной жаждой познания и здравомыслием. Великим своим терпением, видимостью покорности, собственной устремленностью в будущее, развивая природную сметку и накапливая жизненный опыт, позволяющий осмотрительно и осторожно продвигаться к намеченной цели, как в чуждой среде редко кому удастся. Он с легкостью льстил Сянь Мыню, под присмотром которого начинал обучение в монастыре, и с особым лукавым усердием продолжил льстить, никогда не считая монаха ни самым умным, ни самым образованным, с тех пор, когда вдруг почувствовал, что его готовят к некой особой миссии. Долго не понимая, в чем она будет заключаться, но, по тайному желанию Сянь Мыня оказавшись рядом с наследником, он сумел извлечь немало, рассчитывая скоро получить еще больше. Поездка в армию генерала Хин-кяня многое изменила в его прежних желаниях. Всё цельное, устремленное, разом разрушилось, утратив опору именно там, на Желтой реке, когда перед ним

предстало, нет, не мужество и отчаяние, с которым остатки туменов Нишу-бега бросались в ледяную воду, а — окровавленная голова бега на золоченом подносе в трясущихся руках тюрка-старейшины.

Трясущиеся руки, поднос и голова, от которых отворачивался брезгливо сам жестоколюбый монах, но совсем не отстранился юный принц, готовый в юношеском азарте схватить эту безжизненную волосатую костомагу за окровавленные пряди.

Из поездки в ставку Хин-кяня он вернулся как бы сбросившим что-то долго стеснявшее, словно неудобный панцирь не по размеру, омертвляющее его тюркскую суть, начав следить за каждым движением возмущившихся с возрастающим интересом. Следил, невольно анализировал, прикидывал, что-то в тайне высчитывая и желая восставшим любой, пусть незначительной, но только удачи.

А само восстание, казавшееся ранее чуждым, во многом непонятным, бессмысленным, не вызывавшим возвышенного восторга и у большинства соплеменников, знакомых ему по Чаньани, вдруг предстало совсем в другом свете.

Всё предстает иначе, когда вдруг поймешь, за что не жалко жизни...

Он шел к этому долго, непросто, его удачливая судьба не нуждалась в немедленных

переменах. С трудом поддаваясь нелегкому осознанию, что трагедия, произошедшая на рубежах старой Степи и Китая, есть неизбежность большого начала, которое предопределено самой историей будущего.

Начала, а не конца, как видел монах.

В смерть всего тюркского народа он больше не верил, тяжело переживая измену старейшин, проявивших позорную трусость и омерзительное, предательское повиновение врагу-победителю, решившись на убийство собственного вождя.

Это было добровольным убийством каждым из них собственного тюркского духа, который до этого часа он так же слышал в себе не часто.

Тюрк предает тюрка — ужасно!

Тюрк отрезает голову тюрку — кощунство!

Это был и его позор, разъедающий душу и разум сохраняющейся в памяти ужасной картиной, представшей на высоком речном обрыве под рев флейт и буханье большой барабанов.

Он стал другим с того дня, наполненного треском и грохотом оглушающего торжества, но стал ли он справедливее, поднялся над злом или погрузился в него с головой, сам сделавшись опасным исчадием зла, — об этом Тан-Уйгу пока глубоко не задумывался, ощущая просто страдания, тяжесть и душевную боль.

С тех пор он знал о восставших в мельчайших

подробностях, за всем следил, не в силах чем-то помочь, но людей у князя Фуняня становилось меньше и меньше, генералу старой военной школы Хин-кяню не составило большого труда проявить хладнокровную военную расчетливость и довести начатое до конца.

К тому же на помощь китайскому генералу пришли телесцы-тенгриды, уйгуры, помнящие о временах тюркского владычества. Они надежно закрыли северную границу империи от прорыва возмущившихся в Орхонские степи и на Алтай, внесли смятение и в его душу, затаившуюся невольной надеждой.

Не менее враждебно в отношении его соплеменников показали себя кидани с татабы, встав на других возможных путях шамана Болу и князя Фуняня в Маньчжурию и на Байгал, окончательно лишив тюрков последней надежды на спасение. Удачными действиями китайские генералы вынудили князя Фуняня скитаться в Черных песках и, наконец, на достаточно почетных, обнадеживающих условиях сдаться. Об этом самодовольно любил рассуждать монашествующий царедворец Сянь Мынь, внушая безропотному слушателю мысль о тонкой предусмотрительности, направленной на усмирение буйного Севера, и он окончательно возненавидел монаха, вскоре снова увидев голову Нишу-бега в других обстоятельствах,

преподнесенную его же, князя-ашины сподвижниками теперь лично китайскому владыке на еще более богатом хуннском подносе.

...Тан-Уйгу смотрел из-за спины принца-наследника на эту засохшую волосатую голову с пустыми глазницами, и словно бы видел рядом еще одну и еще, презирал того, на кого сильно надеялся, благоухающего благовониями, бесчувственного непосредственно к смерти и, задыхаясь горечью увиденного, почувствовал, как жаждет быть с теми немногими, кто бродит в песках...

Мир был и остается бесчестным, сатанея лишь с каждым веком. Честь, достоинство — понятия странные, достаточно узколобые, иногда они превозносят не смелость и отвагу, а глупость и упрямство. Старого князя-ашину Тан-Уйгу было не очень жалко. Скорее, его вообще не было жаль, разве что немного из сочувствия к Ючженю. Князь сам сдался властям, поступок его Тан-Уйгу разгадал без труда, связывая с желанием старого тюркского предводителя облегчить участь детей, находящихся почти со дня рождения в Чаньани в положении заложников-аманатов, и старшего сына Ючжени в первую очередь. Монах Сянь Мынь это желание князя, не представлявшего никакой опасности, легко разгадал. Князя не мучили, не истязали, не велась речь о его казни, но беседовать

с ним, окончательно оглохшим, было трудно, Сянь Мынь не однажды жаловался на подобное неудобство, скоро утратив интерес к тюркскому старейшине Ашидэ, чем, скорее всего, невольно и подписал негласный свой приговор.

Но что случилось на самом деле, почему князю окончательный приговор вынесла вдруг сама императрица, оставалось загадкой.

Возникшие вопросы для Тан-Уйгу были почему-то тревожней, чем непосредственно казнь, князь Ючжень не вызывал интереса, беседа утратила смысл, и Тан-Уйгу уставился бесчувственно в пустую пиалу.

Молчал и молодой князь.

Готовясь перенести встречу на другое время, Тан-Уйгу вдруг услышал за пределами заведения непонятные крики, топот бегущей толпы.

— Тюрки из Черных песков Алашани пригнали! Пленных тюрков пригнали! — неслись возбужденные голоса, понуждая Тан-Уйгу все-таки встать и пойти за толпой, взбудораженной происходящим за крепостными стенами столицы.

Резко поднявшись, он глухо сказал:

— Я китаец не понял, когда он делал нам знаки... Пойдем, князь, посмотрим на живых... пока они есть.

Толпа бежала к северным воротам, но ворота были закрыты, никого из простолюдинов и черни за

них не выпускали, а тем, кто был достаточно знатен, известен начальникам стражей, позволяли подняться на крепостные стены.

Тан-Уйгу, как наставник наследника, был более чем известен, перед ним раскланивались особенно подобострастно, и они с князем беспрепятственно взбежали по гулким ступеням на одну из башен над воротами.

Представшее зрелище было тягостным. Иссушенное зноем пространство вдоль реки клубилось густой желтой пылью. Пленные турки брели на остатках сил, сбиваясь в толпы, поддерживая друг друга, за что получали безжалостные удары плетками. Их гнали к мосту и гнали за реку, где было разбито в виде скотского загона некое подобие огражденного лагеря. Но мост, наполовину заставленный телегами, должно быть, для предстоящей вывозки трупов, стал препятствием, у него и на нем творилось вообще невообразимое. Здесь стражи, с опозданием поняв ошибку, свирепствовали особенно жестоко.

Пленные мало что понимали. Им казалось, что надо непременно идти, идти, чтобы не озлоблять конвоиров; они настойчиво лезли, толкались, не понимая, что мост, не в состоянии пропустить подобную массу, и телеги на нем основное препятствие.

Стражи бестолково орали, пытались

воздействовать на толпу конями, но и кони были бессильны, затаптывая насмерть оказывающихся под копыта.

Несчастные, ослепленные страхом, лезли и лезли на мост, друг на друга. Лишь бы скорее миновать разгневанную охрану, готовую схватиться за сабли. Лишь бы проскочить мимо гневных солдат. И мало кто понимал, почти обезумев от безысходности, что лезет на мост и телеги, срываясь, летит куда-то.

Что-то должно было случиться еще более страшное последствием; в необъяснимой тревоге Тан-Уйгу схватил Ючжэня за руку.

И непоправимое произошло. Не способные навести порядок иначе, солдаты пустили в ход сабли, и возникшая неожиданная резня продолжалась до тех пор, пока, не уяснив команду, пленные не легли в пыль на дорогу.

На башнях смеялись, оживленно переговариваясь.

По реке, переполненной кровью, мимо башен плыли трупы.

Ючжэнь первым не выдержал, кинулся вниз по ступеням.

Следом скоро спустился и Тан-Уйгу.

— Не могу, не могу! Оставь меня, Тан-Уйгу, встретимся позже...

Тяжело, трагично начавшись, день продолжал

оставаться невыносимо тяжелым. Пора было возвращаться во дворец, наследник наверняка давно его спохватился, а ноги не шли, все перед ним было в кровавом тумане.

Он угадал; увидев его, принц набросился с криком и возмущением.

— Тан-Уйгу, где ты был? — шумно гневался юный наследник. — Я собирался на казнь тюркского князя, но без тебя не пустили! Ну, где же ты пропадал? — досадовал принц, смущая Тан-Уйгу нестерпимо жадным, жаждущим взглядом.

В последнее время наследнику позволили отращивать волосы, они топорщились, подросток метался по зале раскрасневшийся, дышавший обидой и злостью.

— Я только что с крепостной стены, мой господин. Там куда более жестокое представление, чем на помосте, где казнили немощного старика, — ответил ему Тан-Уйгу, не скрывая собственного раздражения.

— Тан-Уйгу, ты раздосадован? — Принц удивился, воспрянув новым острым желанием, часто спасительным для многих служивших ему. — Чем ты так раздосадован? Я тоже хочу увидеть!

Готовый взорваться, чувствуя разгорающуюся ярость, Тан-Уйгу крепился из последних сил, не испытывая никакого стремления возвращаться на

стену и снова наблюдать, что он уже видел, и, наверное, взорвался бы, не появившись, как всегда, неожиданно мелко семенящий и сладостно улыбающийся монах, похожий на разноцветный колобок.

Он торжествовал, упивался собой. Глаза его были зорче привычного, томно прищуриваясь, почти совсем закрылись.

— Вы отправитесь завтра, принц, — сказал он сухо и будто умышленно загадочно. — Сегодня пусть наблюдают и тешатся простолюдины. Завтра, завтра! — напрягая гладкий лоб, повторил он строже, угадывая желание принца возмутиться, настоять на своем. — Тан-Уйгу подготовит необходимое сопровождение. Принц увидит еще немало. Потерпи, Ли Сянь, потерпи до утра.

— Сянь Мынь! Казнь старого князя... зачем? — не удержавшись, спросил Тан-Уйгу.

— Для начала. Как прелюдия. Настоящая музыка Великой Дочери Будды впереди, Тан-Уйгу. — Монах откровенно упивался собой, становясь для Тан-Уйгу окончательно ненавистным.

СТИХИЯ ПЬЯНЯЩЕЙ РАСПРАВЫ

Плененных большой первой партии из числа сдавшихся генералу Хин-кяню в Черных песках

сгоняли в лагерь под стены Чаньани почти двое суток, и двое суток Тан-Уйгу был вынужден находиться на одной из крепостных башен рядом с любопытствующим наследником, другими принцами и принцессами. Но пригнали не всех, кто был окружен, сложил оружие в Алашани, в пристенный лагерь за рекой сгоняли наиболее крепких воинов, мелких и средних начальствующих, руководивших сотнями, полутысячами и тысячами, вызвав неудовольствие военного министерства. Для одних восстание — героизм, по крайней мере, так считает часть людей, тайно поддерживающая стихию и бунт, для других — преступление. Все чаще в отношении Хин-кяня брюзжал и монах, оказавший генералу высокое покровительство. Для него возмущившиеся были преступниками. В чем-то всегда правы и те и другие, справедливое дело на крови не замешивается, как не может иметь оправдания любое насилие и принуждение. Но кто рассудит противоборствующих по справедливости, если она вообще существует, и каким судом их судить? Есть ли способ взвесить и те, и другие преступления, как прежние незаживающие глубокие раны, причиненные не повинным, так и новые насилия, грабежи и убийства, еще продолжающиеся и вопиющие о мести?

Монах не хотел ни взвешивать, ни рассуждать

в пользу восставших, он сердито, непримиримо ворчал и сокрушался:

— Сообщают, Хин-кянь разрешил сохранить зимнее поселение шамана Болу. Ему приказали все растоптать, безжалостно уничтожить, шаман перенес туда часть прежнего капища, а генерал своевольничает. Видите ли, он дал слово на сдачу князя Фуняня в плен ответить миром! Что с нашими генералами, Тан-Уйгу?

Не имея возможности возражать без опасения, проникаясь невольным уважением к генералу Хин-кяню, и его человечности к пленным, Тан-Уйгу насуплено отмолчался.

Когда переправа несчастных завершилась, наследник потребовал посещения непосредственно лагеря, что Тан-Уйгу сделать было вовсе непросто, и он с еще большим страданием и смятением почувствовал, как ему будет трудно там, среди измученных соплеменников; выручил монах, предложив немного подождать и дожидаться более важных пленников.

— На подходе другая колонна, принц! Ведут более знатных воинов, захваченных генералом Жинь-гунем в Ордосе, тогда и посмотришь, — настоял монах, намекая, скорее Тан-Уйгу, чем принцу, что в столице намечается грандиозное кровавое представление.

Но ужасное грандиозное и без того уже

развернулось. По решениям судебного ведомства, военных инспекторов и цензоров-прокуроров на мосту через Вэй начались массовые казни, посмотреть которые съезжалась вся столичная знать. Это был будто бы какой-то ритуал, важная государственная необходимость одним — убивать и казнить, другим — наблюдать и упиваться. Работы у палачей хватало, но мало кто понимал, да и не думал об этом, кому нужна настолько дьявольская работа, совершавшаяся размеренно, с деловым рвением дровосеков.

Усердие добросовестного палача-убийцы! Восхищение и опьяняющая страсть праздных наблюдателей за действиями палача! Добросовестное прилежание чиновников, судей, приговаривающих новых и новых заговорщиков и возмутителей к обезглавливанию! Всё было дико, омерзительно, вызывало протест, хотя, свершалось и ранее, особенно не затрагивая и затронув настолько сильно тем, что не считано и безжалостно убивали его соотечественников. Несчастных просто, бросали на плаху-чурбан, отсекали головы, отправляя отдельно возами в корзинах с верхом, как возят арбузы. Куцыми обезглавленными обрубками в рваных и вовсе не рваных одеждах, наполняли сотни и тысячи других телег и повозок, громяющих встречными вереницами по каменистым улицам, работы хватало.

Казни на мосту были доступны не только взорам горожан и знати, наблюдающим за происходящим с крепостных стен, они оказывались в поле зрения лагеря за рекой и первые дни сопровождалась тысячеголосыми тюркскими проклятиями, достигавшими стен города. Готовые умереть достойно, непосредственно в битве, как воины, сошедшись грудь в грудь с противником, они не хотели унижительно и позорно умирать на колоде и плахе.

Правда, дико и гневно кричали они только вперые дни, лагерь скоро словно бы что-то понял, смирился и наблюдал совершающееся в глухом оцепенелом онемении.

Как ни странно, но человек перед насильственной кончиной, в предчувствии последнего мгновения жизни, страдая и мучаясь телесно и духовно, иногда и побуйствовав в предчувствии неизбежного, обретает оглушающую покорность судьбе, и Тан-Уйгу будто бы не хотелось, чтобы его соплеменники завершали свою жизнь подобно баранам на бойне. Ему тайно хотелось до стога в груди, чтобы они... взорвались, объединенные испепеляющей яростью и снисходящим на них Божьим гневом. Он готов был умереть вместе с ними. Исполни они его воспаленное ожидание, сам пристал бы к ним без раздумий и колебаний.

Но, умея многое постигать и оценивать, собственную смерть человек осознать не способен. Нет у него таких чувств, чтобы увидеть себя уже не живым, не существующим, и этим в последний раз яростно возмутиться. Все истекает и утишается его глухим отупением и равнодушием, небытия, как чувства и ощущения, природа в него не вложила...

Вскоре, чуть меньшей колонной, изнуренной дальним переходом, пришли тюрки, закованные в кандалы по приказу генерала Жинь-гуня. В основном это были старшины, старейшины, прочая мелко-средняя знать Ордоса, Шаньси и Шэньси.

Отдельно, в личном эскорте генерала, следовал Выньбег. Его, грязного, в изорванных кожаных одеждах, с волосами, торчащими в разные стороны сухими черными прутьями, внушающего страх физической силой, везли на коне без седла. Тюркский вождь со связанными руками, посаженный лицом к лошадиному хвосту, вызвал небывалую волну мятущегося возбуждения.

— Тюрка-вождя! Предводителя-тюрка везут! — закричали на воротах, когда Тан-Уйгу был с наследником на крепостной стене, и того, как закричали, оказалось достаточно, чтобы понять необычность происходящего.

Посмотреть на жестокого бестию и безжалостного разбойника, которым в Чаньани запугивали младенцев, способного разорвать,

расчленив и женщину и ребенка, мгновенно собралась большая толпа. Заметней других незначительных групп сразу же выделилась шумливая стайка полуголых красоток вызывающего поведения в звериных шкурах и с музыкальными инструментами в руках. Это были девицы известного в старейшем музыкальном училище города общества-братства, о котором ходило немало пугающих противоречивых слухов.

Тюркский воин произвел сильное впечатление, лишившее беснующихся амазонок всякой сдержанности. Сбившись в плотную группу, не позволявшую вклиниться чужаку, бесцеремонно вышвыривавшую такого нахала из сплотившихся рядов, полуголые девы непристойного поведения дико кричали, бесились, пытались исторгать из музыкальных инструментов разнообразные звуки, противные нормальному слуху, совершали вызывающе оскорбительные телодвижения, далекие от изящества. Они, хорошо известные городу, прежде вызывающе расхаживающие по улицам под шум и трескотню визжащих и хрипящих дудок, флейт, бамбуковых свистулек, часами толпившиеся на мосту казней, всюду мешавшие движению телег и повозок, дружно последовали за генералом и важным пленником, усиливая уличную вакханалию. Не скрывая высокомерного презрения, они больше других

упивались страданиями тюркского предводителя, дразнили его, трещали, пищали, дудели в дудки, били, просто били по струнам инструментов.

Полный напыщенности и тщеславия, генерал был доволен подобным стихийным приемом и тихо шепнул встретившему его на городских воротах военному министру:

— Девицы из братства, У-хоу им покровительствует. Продлим удовольствие городу.

— Да, да, — легко согласился военный министр, — я прикажу провести твоего дикаря по всей столице. Продолжим, продолжим! Прекрасная мысль, генерал, Солнцеподобной может понравиться!

Девушки бесстыдно кричали:

— Генерал, ты победил первобытного дикаря, ты настоящий мужчина, не хочешь ущипнуть меня в попку?

— Красавчик Жинь-гунь, мы тебя любим!

— Если великая У-хоу не впустит больше в свои покои, приходи к нам!

— Генерал, тюрка дашь нам на одну ночь?

— Только на ночь, генерал! Умрет, не познав настоящей ласки на шелковых покрывалах.

Бега, сопровождаемого праздной толпой зевак, и теми же девушками из музыкального училища, возили по кривым улицам и площадям три дня, взбудоражив город, давно не выдавший

подобного зрелища и едва ли понимающий толком, что произошло где-то на северных рубежах отечества. Насытившись многочисленными безликими казнями, толпа с особенным наслаждением упивалась истязаниями одного могучего тюрка, с каждым днем теряющего силы у них на глазах. Под ее упоенный поощрительный рев бега секли хвостатыми плетками, подкалывали пиками, сдергивая с коня, принуждали бежать, связанного цепями, за телегой. Долго возили на окровавленной повозке распятым на закрепленном столбе с перекладиной.

К исходу третьего дня ничего человеческого в тюрке не осталось. Ноги его совсем не держали, кожа спины, плеч, рук, иссеченная изощренными стражами, свисала клочьями. Бег истекал кровью, его уже только возили, сам он сделать не мог ни шага.

Местом казни Выньбегу была назначена Восточная площадь, где происходили наказания бродяг и разбойников и куда процессия с бегом, сопровождаемая огромной орущей толпой, добралась только к вечеру третьего дня. Тюрка волоком втащили на помост. Помучив и поистязав на удовольствие публике, ему, как вору, отрубили правую руку и, оставив истекать кровью, привязали к столбу пыток.

Возбуждение всякой толпы, стихийных

скопищ и групп — явление неоднозначное и своенравное. Шумливая полуголая стайка расставаться с Выньбегом не торопилась и, когда опустились сумерки, девицы устроили новый садистский спектакль. Прямо на залитом кровью помосте.

Это было неприятное и неприличное представление, на которое едва ли способен самый изощренный дикарь, но на которое с легкостью способно пойти подобное, вошедшее в раж сборище развращенных единомышленниц.

Сорвав остатки рваных одежд с полуживого бега, истекающего кровью капля за каплей, как было предусмотрено безжалостным палачом, под рев толпы скинув свои шкуры-накидки, напяливая и подражая человеческой первобытности, они устроили на помосте настоящую и бесстыдную оргию собственной необузданности.

Они словно блаженствовали в этом развращенном бесстыдстве, выплеснувшись на городские улицы, приводя ночную толпу в иступление.

Они упивались страданием полуживого бега с бессмысленным взглядом, дразнили, когда бег приходил ненадолго в чувства, поднимая запекшийся обрубок руки, обожженной факелом стражей и отмахиваясь точно от бесов, дергали за все, за что только можно подергать и потрогать

любопытного в мужчине.

Под конец они оказалась почти совсем нагими, словно дикарки в набедренных повязках из узеньких звериных шкур. Они радовались тому, что бесстыдно нагие, снова трещали, пищали, дудели, били по струнам инструментов.

И все же это было для них не совсем наслаждением, как не могло быть и проявлением истинно женского естества — наблюдавшему незаметно за происходящим на площади и на помосте Тан-Уйгу было их жалко.

Да и было ли это женское естество, способное и нежно любить, и страдать, и сочувствовать — мир нередко противоестествен в самом святом для себя проявлении совести и морали и куда более безобразен и гадок, чем способен казаться. Скорее, это была обычная стихия какого-то разгульного протеста, понятного лишь его участницам, не знающая границ. Попытка таким вот сверхразнузданным способом обострить собственные чувства, давно притупившиеся в том же самом разврате вольного и порочного братства.

«В монашеской Чаньани бессчетно запретов, время от времени, вызывающих протест не только отчаянных девиц. Разве это первое выступление подобного рода, о чем известно непосредственно императрице?» — подумал вдруг Тан-Уйгу, вроде бы раздосадованный происходящим на помосте для

казни и пытающегося найти ему оправдание. И тут же ожила мысль, что Чаньань давно живет разрозненными противоречивыми слухами о войнах, которые всем надоели, как и ему.

Войны! Кругом только войны, не остающиеся без последствия в обыденной человеческой жизни. Особенно надоело затянувшиеся кровопролития в Западном крае и на Тибетской линии. Своими оглушительными сообщениями о тяжелых поражениях, они нагнетают в обывателе постоянный страх, поселяя и укрепляя в нем обреченность, мысль о неотвратимой беде и новых наборах в армию.

Наиболее затянувшаяся многолетняя война на Тибете, проглотившая бесследно большую часть здорового молодого поколения, всем, включая расхристанных, бесстыдных валькирий, большинство которых происходило из приличных семейств, была болезненней, ощутимей других подобных кампаний. Она становилась опасной устойчивым постоянством, неизбежными новыми жертвами, обнищанием многих достойных семейств. Так или иначе, но с ней за минувшие годы как-то смирились. Зато победы на севере, подавление тюркского восстания в Ордосе и Алашани рождало во всей Чаньани иллюзию торжества и собственного величия. В последние дни в пагодах, кумирнях, прочих местах столичных

священнодейств громкоголосо взывали и проклинали. В общественных и увеселительных заведениях пили и бранились. Толпами сбиваясь на грязных узких проездах, текли крикливым скопищем к северным воротам столицы, к мосту через Вэй, чтобы снова и снова посмотреть на грязных степных дикарей, пресытиться новыми казнями. Пыльный запущенный город жил предошущением близких новых жестокостей, скорым обилием куда большей крови, чем оросившая берега Вэй, как, может быть, более чувственно жили разнузданные жрицы свободных нравов из музыкального училища.

Но мысли Тан-Уйгу были неловкими, оправдания девушкам не находили, рисуя другие картины поведения женщин других достоинств живущего в веках. Одна из них вдруг словно бы замерла перед ним, перестала метаться, потекла ровно, словно бы оживая. И он увидел другую толпу женщин, отворивших ворота полуразрушенной, догорающей крепости, сильную предводительницу, вышедшую первой под стрелы врага. И малых детей, сбившихся в кучу, самоотверженно закрываемых другими женщинами поверженного, пылающего города.

— Князь, сегодня погиб наш последний мужчина-защитник и сражаться с тобой больше некому. Остались в живых только малые дети, не

способные держать ни лук, ни саблю. Мы оставляем тебе крепость, утварь, жилища. Если чтишь какой-нибудь кодекс воинской чести, пропусти нас и наших малых сыновей, но помни, они могут вернуться, поскольку пепелища прошлого и прах отцов будет вопить в их сердцах, возмужавших однажды, и призывать к возмездию.

Полгода осаждая непокорную крепость и сломив, наконец, сопротивление противника, напыщенный победитель не внимал осмысленной речи женщины, не слезая с коня, усмешливо произнес:

— Ты не все нам оставила, женщина.

— Что мы уносим, не отдавая тебе? — удивилась женщина-мать.

— На каждой из вас остается одежда, сложите к моим ногам.

— Князь, нас уже ничем не испугаешь, мы не побоимся предстать нагими перед тобой. Но с нами, князь, посмотри! Наши сыновья: мальчишки и отроки! — воскликнула возмущенная предводительница.

— Право выбора за тобой, — потешался нахальненький князь.

— Князь, ты поступаешь неумно. Мы, матери, легче забудем позор, но дети...

— Другого решения не будет, — перебил ее предводитель когорт, осаждающих крепость.

— Да падет гнев богов на одну меня! Во имя детей покоримся, — сказала властная женщина тем, кто был у нее за спиной, оборачиваясь к ним и низко кланяясь.

Она первой разделась донага. Помедлив, и другие разделись. Воины расступились. И никто из них, в отличие от вождя, бесстыдно не пялился на женскую наготу, суровые воины отворачивались.

Прошло почти два десятка лет. Однажды опозоренная жена погибшего князя появилась с тремя подростками сыновьями и с немногочисленным войском у стен той же крепости. Битва была жестокой, погибли два ее юных мальчика, но войско мужественной предводительницы победило.

К ней подвели плененного князя.

— Князь, — сказала она, не стыдясь своих траурных слез, — ты развязал с моим господином и моим земным богом войну. Ты пришел и убил моего мужа. Убил двух моих сыновей. Какой кары ты ждешь?

Князь молчал. Тогда женщина спросила:

— Сможешь ли ты предстать перед своими женами и дочерьми, не потеряв стыд воина без всяких одежд?

Князь упрямо молчал.

— Хорошо, князь, ты не можешь, но ты и не умер достойно воину, предпочтя плен. Ты на что-то

рассчитывал или ты просто труслив?

Князь молчал, и женщина-воительница обратилась к его женам:

— Кто из вас ради мужа-убийцы готов поступиться тем, чем поступились мы, спасая наших детей?

— Ради мужа верная жена пойдет на все, я готова, — ответила самая старшая.

— Ты благородная и верная жена, но у тебя взрослые сыновья, их стыд будет другой, чем стыд ребенка. Забирай своего мужа и уходи. Пусть все узнают, что такого воина больше нет на земле! Остальные жены его... Похоже, им все равно, с кем дальше жить, — я одарю ими слуг и рабов...

Об этой женщине поэты сложили легенду, назвав ее «Цветок, врачующий душу». Тан-Уйгу давно познакомился с прекрасной легендой и успел позабыть, но она вдруг пришла сама по себе, возбудив его тем, что имея полное право на жестокость в отношении поверженного врага, женщина из далеких времен проявила благородство. О ней — женщине-воительнице, отомстившей за честь мужа, и женщине-матери, потерявшей в судьбоносном сражении двух сыновей, — будут помнить всегда, но кто вспомнит об обнажающихся, как в угаре, молодых сильных кобылицах, утративших стыд и воздержание? Неужели плотское станет когда-то обычной утехой,

способной затмить глубину настоящего чувства?

Конечно, неразумным бесшабашным поведением они бросают вызов. Но ведь распущены и развратны, а добровольному бесчестию оправдания не бывает...

С ним что-то происходило, начавшись у помоста с обезглавленным князем Ашидэ и продолжившееся под воздействием сотен и сотен тюркских смертей у крепостных стен китайской Чаньани. Въедливое и назойливое, похожее на далекий комариный писк, перерастающее в оглушительный рев толпы, убившей Выньбега. Мысль, что и ему, состоящему на службе империи, скоро может не найтись оправдания, набегала издали, как туман. Тан-Уйгу справлялся с ней, отпугивал, не давая окрепнуть. Но надолго ли?

* * *

Бег умер к утру.

Умер тихо, покорно, просто капля за каплей истек.

Оставаясь никем незамеченным, Тан-Уйгу видел, как он умирал, следил до последней минуты, словно бы спешил хоть что-то у него перенять.

Доставленных в обозе генерала Жинь-гуня старшин и старейшин тюркских родов и поколений, представляющих не то какую-то государственную

опасность, не то другой интерес, загнали в крепостные подземелья, дав начало шумным чествование генерала Жинь-гуня и его доблестного штаба на городской площади.

Оно длилось весь день и закончилось появлением императрицы под балдахином. Горели тысячи факелов, звучали тысячи флейт и струнных инструментов, больших и малых барабанов, длинных и коротких труб, тростниковых свирелей, что бывает совсем не часто и только по самым большим торжествам. Замысловатые танцы-феерии исполняли тысячи юных дворцовых красавиц и танцовщиц.

Императрица, окруженная гвардейцами и монахами, овеваемая опахалами, надменная и высокомерная, поднялась, но балдахина не покинула, позволив себе подарить склонившемуся перед нею генералу-фавориту нечто похожее на поощрительную улыбку, вызвав новую бурю восторга.

Генерала Жинь-гуня чествовали еще несколько дней, но генерала Хин-кяня держали за городом, не объясняя причин.

Хин-кянь нервничал, его мужественное лицо, обожженное пустыней, было хмурым. Когда появляющиеся в его лагере военные чиновники-посыльные пытались доброжелательно втолковать, что генерал совершает ошибку,

продолжая держать при себе плененного князя Фуняня, не отсылая к У-хоу, он с достоинством отвечал:

— С князем Фунянем у меня заключен договор, я его выполняю. Я представлю князя Фуняня великой У-хоу лично и буду, как повелевает мой долг, настаивать на пощаде. Упрямец путал все карты развернувшегося величия и торжества, вызывая неприязнь царствующих особ и царедворца-монаха.

Тихое противостояние длилось ровно через неделю, пока воздавались шумные почести генералу Жинь-гуню, и только потом наступила очередь генерала Хин-кяня, получившего разрешение войти в столицу. Вызывая возмущение, рядом с ним в седле следовал тюркский хан-пленник при личном оружии, сопровождаемый несколькими нукерами и женами в обозе. Единственное, в чем оказался унижен тюркский вожак, — его лишили права быть в ханском головном уборе, представлявшим округлую меховую шапку с камнями, золотыми фигурками зверей и животных, перепоясанную по верху витыми золочеными шнурами толщиной в палец, который стражи везли вздетым на пику.

Непокрытая голова хана-пленника встрепанные жгуче-смолянистые волосы были не то наполнены песка, не то поседали. Генерал иногда

наклонялся к нему, что-то говорил, вроде бы улыбался, словно позабыв, что улыбается врагу великой империи, беспощадной к тем, кто ей изменяет, князь Фунянь в ответ кивал, как бы поддерживая в чем-то и соглашаясь.

Подобная вольность на глазах у столицы не могла не задеть недоброжелателей, и они незамедлительно проявились, засвистев и заулюлюкав. Особенно неистовствовала группка тех же самых, набежавших на кортеж длинноногих девиц в странных, наполовину тюркских, наполовину китайских одеждах, с музыкальными инструментами, издающими далеко не благозвучные мелодии, которая несколько дней назад безудержно восхищались генералом Жинь-гунем.

Рыжеголовым красавцем Жинь-гунем!

— Кто эти, настолько мне непонятные? — не без удивления спросил тюркский князь.

— Есть в Чаньани такое общество вольных девиц, желающих отведать нового брата, — небрежно обронил генерал, сохраняя величие и спокойствие.

— Почему они гневом встречают тебя, генерал? — разобравшись в происходящем, не без удивления спросил князь.

— Потому что ты не связан, не сидишь лицом к хвосту своего коня, как был представлен толпе

генералом Жинь-гунем твой сподвижник Выньбег. Потому что я признаю в тебе воина, а им нужно видеть сумасшедшего дикаря, — с легкой усмешкой ответил Хин-кянь.

— Ты победил, этого мало? — снова спросил седеющий тюрк.

— Тебе неизвестно, что победителем иногда провозглашается вовсе не тот, кто ходил в битву, а тот, кто за ней наблюдал, только мешая советами? Вдали от Чаньани я мало что понимал и только теперь... Мы плохо слушаем прошлое, князь, не черпаем из него хорошее и не отмечаем плохое.

— Да, в другие времена, генерал, мы могли бы вместе ходить в походы.

— Я знаю, Фунянь, так уже было полвека назад, но я все же китаец, — незлобно проворчал генерал, смущаясь невольной своей откровенностью.

Князь оценил ее, поспешно произнес:

— Генерал, ты дрался со мной достойно, сдержал слово, позволив многим моим соплеменникам остаться в лагере, который сооружен прошлой зимой! Не бери на себя большее, я знаю коварство зависти и знаю, как на твоём месте поступил бы другой. Не стоит щадить, я удовлетворен, как ты обошелся со мной. Не трать больше усилий, которые обернутся против тебя. Ты и я лучше других знаем конец подобным кровавым

событиям, прими мою искреннюю благодарность.

— С воином — я воин, с пленным князем — я всегда князь! — произнес Хин-кянь, и они замолчали.

С ВОССТАНИЕМ ПОКОНЧЕНО

Победителей не всегда только любят и превозносят; плохо бывает и самому победителю, если он утрачивает должную осмотрительность и разумность в поведении или вовсе ею пренебрегает. Об этом Хин-кяню и заявил сердито монах, первым удостоившего его посещением.

— Почему ты беспечен, Хин-кянь? — спросил угрюмый священнослужитель Будды, поздравив генерала с окончанием славного похода. — Не хочешь остаться при дворе... как Жинь-гунь?

Монах сделал паузу, смысл которой мог оказаться двояким, насторожив генерала.

— Сянь Мынь, я знаю, чем обязан тебе, благодарю за все, что ты сделал, но мне не дано быть... при дворе. — Хин-кянь оставался холодным, погруженным в себе. — Да и походов, подобных совершенному, я более не хочу.

— Беспечность! Какая беспечность! Достигнув победы, ты упускаешь плоды! — излишне шумливо возмущался монах.

— Я уничтожал способных преданно служить

Поднебесной, Сянь Мынь, неужели по сегодняшней день ты не можешь понять настолько простого!.. К тому же, меня насмешливо известили, что голове князя Фуняня определено место во Дворце Предков рядом с головой Нишу-бега. Сянь Мынь, сложились все иначе... Будет эффектно выглядеть — сказали. Но, моча бешеной ослицы, таких отважных подданных, недавно служивших Тайцзуну не за страх а на совесть, у Поднебесной больше не будет!

— Головы Нишу-бега и старейшины Ашидэ наводят ужас на посетителей, многие желают видеть рядом и голову третьего смутьяна! С мертвого снять, в песках, или с живого — в Чаньани... — Монах смутился.

— Сянь Мынь, тюркский князь прекратил сопротивление, получив мое обещание сохранить жизнь ему и его сподвижникам, иначе они бы не сдались никогда. У князя была возможность, бросив женщин, детей, вырваться и уйти, как ушел какой-то тутун с дюжиной нукеров. Я встретил достойного в решимости. Увидел перед собой не толпу, не безумцев, не наемные корпуса и дивизии, не озверелые шайки дикой орды, как думал вначале, а народ в отчаянном единении. Шамана, который сказал старикам: давайте тихо уйдем, сейчас мы лишние. В какой-то момент мне стало трудно их убивать. Я дал слово, Сянь Мынь, во

благо, не во зло. Почему меня унижают моим словом солдата?

— Возможно, ты поспешил, отважный генерал Хинь-кянь. — Монах выглядел слегка смущенным, но не более, и не хотел понимать генерала, которому, составляя проекцию, недавно еще пытался открыть дверь в покои повелительницы.

— Решая судьбу кампании, только военачальник способен принять окончательное решение! Я принял, положив конец северному возмущению степного народа! Как же я поспешил? Оставьте меня на границе, и я обеспечу Китаю покой на десятки лет вперед.

— Хин-кянь, мы будем еще говорить с благосклонной к тебе Великой У-хоу! Соберется большой императорский совет, но власть на нее генерала Жинь-гуня сейчас выше моей, будь готов ко всему, ты не должен себя так вести. — Голос монаха надсел и слегка дрогнул, Сянь Мынь говорил неискренне, неожиданно добавив с лукавым блеском в узких глазах: — Но я всегда рядом, лишь пожелай и окажешься в благоухающих садах... Генерал не хочешь вернуть упущенное в упрямстве?

— Я хочу в новый поход! — прерывая монаха, отмахнулся сердито Хин-кянь. — На Иртыш! В Тибет! На горные земли Теплого озера в Западном

крае! В Мавераннахр! Выбери сам и отправь!

— Вспомни судьбу знакомого нам воеводы и прояви осторожность: твоя судьба только в твоих руках... Может быть, навестить Великую У-хоу в ее божественной опочивальне и восстановить ее благорасположение? — Без особой настойчивости монах мягко коснулся руки генерала.

— В постели! После всех... — Глаза Хин-кяня расширились до предела, наполнились бешенством.

— Будь осторожен! — Голос монаха враз накалился, в нем зазвучала угроза. — Я служу не тебе и если благоволю... — Монах задохнулся, мелко закашлял.

— Я не хотел, Сянь Мынь! Распоряжайся своей, мою честь не затрагивай! — обронил генерал, понижая голос и гнев.

— Можешь сражаться саблей, иди и сражайся, я помогу. Но пора научиться побеждать не только диких тюрок да тюргешей. Повторяя судьбу воеводы Чан-чжи... Подумай.

Монах был оскорблен, не попрощавшись, торопливо покинул упрямого Хин-кяня.

Приемы на всех уровнях для генералов-победителей ненавистных тюрок следовали один за другим, и все они оставались будто не очень существенными, второстепенными, как бы что-то предваряющими. Хин-кянь вел себя сдержанно, на удивление спокойно, не испытывая

неудобств и смущения, которые испытывал на прежних приемах до похода на север, ни перед кем не заискивал, как заискивал прежде, не искал покровителей. В его поведении внешне мало что изменилось. Он оставался, как был, по-солдатски размашист и неуклюж, угловат в движениях, подчеркнуто прост в одежде. Совсем не думал о сабле, которую иногда среди льнущих к нему дам и строгих вельмож нелишне было бы немного придерживать, или с изящным намеком на собственную значимость и геройство, эффектно поглаживать рукоять. Как умело поступал тот же генерал Жинь-гунь, разодетый и расфуфыренный далеко не по-генеральски. Усвоив уроки прошлого в дворцовых интригах, Хин-кянь оставался самим собой, став центром всеобщего внимания как тех, кто к нему благоволил, так и готовых кинуть насмешку. Но взгляд его оставался наполненным такой холодной презрительной твердостью, такой внутренней собранностью, что желающих, как прежде, посмеяться над ним не находилось.

И только при редких встречах с Сень-ю душа его давала сбой, наполняясь парящей легкостью, Хин-кянь пытался оказаться как можно поближе, не спускал с нее глаз. Сень-ю делала знаки, предупреждающие всякую его поспешность, и не позволяла слишком приближаться, в последний момент вообще ускользала. Лишь однажды на

протяжении нескольких дней пребывания во дворце личная служанка и доверенное лицо императрицы на мгновение оказалась в его объятиях. Случилось это среди темной ветреной ночи, она появилась, как тень, и скоро бесшумно исчезла, шепнув на прощание:

— Мой полководец, откажись от меня, иначе мы оба погибнем... Я не смогу не выполнить приказание моей повелительницы, и умереть не могу, пока ты живой...

Смертельным холодом дышали ее слова, которым, тем не менее, генерал не придавал особого значения — что ему смерть, он с ней в обнимку чаще, чем с женщинами!

Когда был назначен военный совет с подведением итогов кампании, окончательным решением судеб победителей и побежденных, Хин-кянь сам отыскал монаха.

— Как решается с ханом, Сянь Мынь? — спросил он устало. — Не скрывай от меня.

— Завтра услышим... Генерал Жинь-гунь и военный канцлер едины: тюркского князя лучше казнить.

— Сянь Мынь, князь — умный вождь! Сколько у нас возвеличено бездарных и глупых! Недавно ты сам настоял сохранить жизнь тюргешскому хану, которого я привел на аркане как паршивую собаку! Князь Фунянь важнее этого

самозванца, а турки, запомни, совсем не подошли. Не можешь сохранить князя, спаси мою честь! Это ты можешь?

— Без твоей помощи — нет, — сказал резко монах, уводя в сторону взгляд.

— Тогда я подам в отставку!

— Сильнее рассердишь У-хоу.

— Да что же, в конце концов, у вас происходит!

— Как всюду при высоких дворах, как всегда, — монах скучно усмехнулся. — Особенно, когда правительница стареет, генерал. У каждого свои сражения... и личные пристрастия.

— Но я не желаю...

— Тогда готовься...

— К чему, Сянь Мынь? К чему? Что замаялся?

Чем еще напугаешь?

— Изгнанием! — сердито воскликнул монах.

— Ссылка?

— Безвестием!

— Сянь Мынь!

— Я сказал.

— Доверь бригаду, дивизию, корпус!

— Не упрямясь, умерь гордыню. Лучше бы тебе оставаться, каким ты был до похода... Тогда ты был просто глупцом, а сейчас! Твоя слава хуже иной заносчивости.

— Я отдал ее придворному фавориту,

позволив поймать Выньбега. Знаешь, как было на самом деле? Имея возможность расправиться с тюрком в два счета, я позволил ему вырваться из окружения и сообщил Жинь-гуню. Не имея воды и припасов, куда он мог деться, генералу пришлось отличиться.

— Славу отдать невозможно, она навечно, Хин-кянь. О Жинь-гуне говорят не потому, что он прославился где-то в Ордосе, Черных песках Алашани или на Тибетской линии... Глупец, У-хоу в ярости, когда видит, как ты приближаешься к ее служанке. Зачем ты встречался с Сень-ю?.. Не заметят? Молчишь? Тогда есть лишь одно, следуй за мной и молчи дальше. — Монах решительно вцепился в руку Хин-кяня, потянул за собой.

— Куда, Сянь Мынь?

— Следуй, пока не поздно! Следуй, глупец!

Не отпуская генерала, монах семенил незнакомыми Хин-кяню переходами дворца, но генерал опять заупрямился, вдруг уперся, как уставший бык.

— Остановись, Сянь Мынь! Лучше в изгнание, я не могу.

— У тебя совсем нет мозгов? Подставляя себя, ты и меня подставляешь! Я за тебя поручился, вспомни!

Ловко рубясь саблями, на них выскочили наследник и рыжеволосый Дэ. Следом, скрестив

руки на груди, шествовал тюрк-наставник Тан-Уйгу.

— Сянь Мынь, мне привели генерала-героя! — Приветствуя Хин-кяня, принц вскинул саблю, прижав рукоять ко лбу, как учил наставник и, от удовольствия покраснев, громко сказал: — Я хотел с тобой говорить, генерал, пойдем.

— Принцу положено говорить: следуй за мной, — поправил наставник.

— Хорошо, Тан-Уйгу! Следуй за мной, генерал, расскажешь о последнем сражении, — отреагировал живо наследник.

— Принц, генерала Хин-кяня ожидает великая императрица, — строго вмешался монах, пытаясь перехватить юношу стремительного в движениях и достаточно развившегося телом.

— А-аа, у нее Жинь-гунь, она вас не примет, — простовато воскликнул наследник, хватаясь за руку генерал. — Пойдем, пойдем, Хин-кянь! С тех пор, как я увидел Желтую реку, кишашую тюрками, я многое понял в твоей великолепной стратегии наступать, притесняя! Потом Тан-Уйгу показал, как берутся самые надежные крепости. Но все, что было на Желтой реке, мне снится до сих пор, я хочу подобной победы! Пойдем, почему ты упрямишься? Хана-тюрка казнят завтра? Ты будешь на мосту

казней? Мы с Тан-Уйгу и Дэ непременно! А где хана казнят? Разве, не на Дворцовой площади, где недавно казнили князя Ашидэ? Давай пойдем вместе, Хин-кянь! Ты будешь в моей свите, соглашайся!

— Принцу известно решение великой повелительницы Поднебесной о казни хана Фуняня? Оно уже принято? — сухо спросил генерал.

— Оно будет принято, когда пожелают военный канцлер и Жинь-гунь! — Принц непринужденно засмеялся.

— Принц любит смотреть, как рубят головы храбрым военачальникам и предводителям? — с внутренним содроганием, тихо спросил генерал.

— Смерть ханов, говорит наш историограф, — смерть целых эпох! — воскликнул принц. — Тан-Уйгу согласен, а ты, генерал?

— Бывает, как считает ученый историк, — сникая, произнес генерал, — но бывает и смерть с неожиданными последствиями, лишь усиливающими эпоху, которую мы спешим объявить умершей.

— Со смертью генерала Фуняня тюрки наконец-то перестанут существовать! — Глаза принца горели огнем. — С ними покончено навсегда.

— Кто так сказал, — удивился Хин-кянь, —

ученый историограф?

— Нет, что ты! Генерал Жинь-гунь!

— Принц в это верит?

— Конечно! Ты и Жинь-гунь совершили великий поход, умиротворивший народы древней Степи, навсегда избавив мою империю от злобных врагов.

— А как быть с твоим наставником, которого ты, кажется, любишь? Тан-Уйгу тоже тюрк, и он, как я понимаю, дорог тебе и останется жить!

— Он мой учитель навсегда!

— Все же он тюрк! Вот он, смотри! Он рядом с тобой и со мной! — настаивал генерал, заставляя нервничать монаха, — а ты утверждаешь, с тюрками покончено.

— А-аа, какой Тан-Уйгу тюрк? Он китаец давно, правда, Уйгу? — Принц был весел, не испытывая волнения или неловкости.

— Он отказался называться тюрком? Предал родивших его отца и мать? Ты спросил, кем он желает остаться?

— Он служит мне, он все равно, что китаец! — настаивал наследник, вскинувшимся взглядом на Тан-Уйгу требуя подтверждения. — Да, Тан-Уйгу?

— Принц, судьбе было угодно, чтобы я родился тюрком, — глухо и трудно выдавил гвардейский офицер-наставник.

— Любого, кто рядом со мной, как ты, Тан-Уйгу, я прикажу считать китайцем, — не сдавался наследник.

Хин-кянь, вскинув усмешливый взгляд на Сянь Мыня, поспешил отвернуться: лицо монаха было серым от гнева.

* * *

Когда-то исполнение смертных приговоров в Китае совершались на закате дня — день истекает в кровавом зареве всесильного солнечного пожара и завершается чья-то никчемная жизнь, — или ночью и в тайне, чаще, под личным присмотром У-хоу. Обычай рубить головы на рассвете ввел Сянь Мынь, убедив императрицу в том, что в этом случае преступник должен испытывать особенный ужас...

С князем Фунянем расправились на рассвете. Как равного с другими тюрками, приговоренными к смерти на это утро, и ничтожного, князя Фуняня казнили на мосту через Вэй, просто отрубив ему голову. Присутствующие непосредственно в двух шагах от места казни и на башнях крепости не успели разобраться, кто из десятка умерщвленных, переодетых в рубища, был знатным князем и тюркским ханом.

Дергая наставника за руку, принц Ли Сянь возбужденно допытывался:

— Ну, где этот хан, я плохо вижу. Ну, кто из них главный, Тан-Уйгу? Почему нам нельзя подойти ближе?

Приблизиться к чурбакам, на которых рубят головы его соотечественникам, Тан-Уйгу никто не препятствовал, просто не было сил. Ему недоставало ни желания, ни мужества на такой шаг, но князя Фуняня он из виду не выпускал до последнего.

У колоды стояла жуткая тишина. Ни один из приговоренных не издал ни звука.

По знаку палача очередной тюрок делал шаг, два могучих помощника главного исполнителя совершаемого изуверства, срывали с него тряпье, ставили на колени, пригибали голову к чурбаку-плахе.

Князя с первого раза пригнуть не смогли: не то, чтобы хан как-то противился, нет, устремленный взглядом в сторону севера, он, кажется, не сразу понял, что требуют от него стражи.

Подчинившись, наконец, он и голову положил глазами на север.

Голова его седовласая отскочила легко, будто игрушка, как у всех.

ВОЛЧЬИ ГУЛЯНКИ

Волки уже загуляли, пора бы Сувану вернуться, но пожилой нукер не появлялся. Гудулу часами просиживал на обрыве, всматриваясь в далекое урочище и дебри, заглотившие два месяца назад толстого, медлительного, расхаживающего на раскоряку воина с добродушным лицом, и был угрюм.

Ночью волки подрались, по-видимому, схлестнулись из-за волчицы. Слушая яростную грызню, рык внизу, в зарослях под скалой, обильных живностью, Гудулу говорил Кули-Чуру, также хмурому, не менее уставшему от зимнего безделья и собственных размышлений:

— Видишь, как у зверей, грызутся по поводу и без повода. Сейчас — за самку, но прижмет, схватятся из-за паршивой кости. Так живет вокруг все живое, готовое вцепиться в чужое горло и выпить всю кровь. Не знаю, но мне иногда страшно, я раньше столько не думал, как этой зимой — на морозе, видишь, как думается, мозги закипают не хуже, чем в казане с кипятком.

Кули-Чур сохранял молчание, и мысли в нем были самые, что ни на есть простоватые. Далеко не уносили, все где-то рядом, возвращаясь и возвращаясь на озеро Косогол в предгорьях Саяна.

— Ты за женщину серьезно когда-нибудь дрался, Кули-Чур? — нисколько не удивляясь возникшему вопросу, спросил тутун и словно бы

похвалился: — Я — ни разу.

Эта была неправда, дрался он и за женщину. И вовсе не ради высоких чувств к ней. Просто однажды у него попытались отобрать обычную пленницу, и он едва не зарубил офицера, возомнившего о своей офицерской вседозволенности, за что понес наказание. Собственно, сама женщина была не причем. Сказать хотелось совсем не об этой ничего не значащей в его жизни женщине, вдруг пришедшей на память в то самое время, когда где-то, справляя звериные страсти, злобствуют волки, а он, тутун Гудулу, ожидая Сувана, вестей из урочища шаманки, сам стал похожим на волка-одиночку, и тяжело засопел.

— Что за женщину драться? — отозвался неопределенно нукер и вдруг заявил: — У меня увели жену, я помчался сломя голову... Дрался — не дрался! А-аа, не приставай, с чем не надо!

Порой им было трудно жить вместе и во всяком другом случае они, скорее всего, давно бы разошлись, но обстоятельства принуждали к терпимости, а редкое общение вслух, подобно начатому тутуном, простой обмен обычными мыслями, как ни странно, понемногу сближая, привносили доверие.

— Пусть подерутся. Кроме волчицы, им больше не за что, не то, что нам...

— У тебя появилось желание подраться?

— Почему бы и нет — оно у меня не исчезает с осени.

— С кем? — без удивления спросил Кули-Чур.

— Да хоть с кем... или с собой.

— Гудулу, ты зря помнишь о том, чего не вернуть. Ну, ничем не лучше! — И нукер потыкал ночь пальцем, в том направлении, где не стихала шумная волчья вражда.

Забывать, что уже не вернуть! А что, кто-то помнит об этом, и как было... чего уже не вернуть? Ему ли, тутуну, не знать, что нередко одни и те же события и далекого прошлого и настоящего получают самые противоречивые оценки людей достаточно просвещенных и вполне уважаемых. То, чего уже не вернуть, они трактуют и подают настолько по-разному и своевольно, что мало знакомому с противоречивой сутью событий, когда-то и где-то случившихся, истины ни за что не найти. Потому что ни у таких толкователей ее просто нет, у каждого есть и будут только собственные пристрастия и собственные заинтересованные доказательства. А что же было тогда и что где-то случилось, разрушив загадочное прошлое их тюркской сути? Кто расскажет, что слышит он сам, тутун Гудулу? Что? Что было на самом деле? Великое в мужестве сторающей

жертвенности? Бессчетно примеров подобного мужества, неподдельного героизма, буйного всплеска отчаянной мощи сердец. Бессчетно! Сотни примеров буйствующего и возвышенного духа! Безоглядного и безумного в самоотдаче, каким он сам был недавно и каким, скорее всего, больше не будет. Может быть, и созидающего, но... мелкого по смыслу. Что, вскочив на коней, они создали? Где остальные? Что значит: *великий народ; во славу народа; мы — народ?* Должен ли быть народ, пусть самый деятельный в какой-то период истории, многочисленный, который ухищрениями льстецов-соседей получает вдруг возвышающее право называться великим? Не самое ли пагубное заблуждение из всех возвеличивать род, нацию, расу? Любой здравомыслящий скажет в искреннем роде бы споре искушенных мудрецов, что глупо. Но скоро забудет об этом, вновь обернувшись тем, кто он есть в мелкой принадлежности роду, нации, расе. Конечно, Чаньань сейчас торжествует. Мятеж, нарушивший ее покой, подавлен. Мятежники казнены во главе с вождями, а старая тюркская Степь, толков не поняв, что же случилось в Черных песках, достигнув крепостных стен столицы лишь мстительным ужасом и кошмарами, ненадолго напрягшись и сожалея о не свершившемся, разочарованно затихает.

Она уже смирилась, снова испуганно

съежившись, но не оглохла совсем, не утратила нормальной вменяемости. Вон, волки грызутся, не усмиряясь! Волки — зверье! А это разве не степь и не воля?

Волки внизу под скалой дрались всю ночь. Утром нукер и тутун рассматривали далеко внизу, на ватно-белом, красные пятна.

Глазастый Кули-Чур углядел под пушистым заснеженным кустом усыпанного ягодами шиповника неподвижного зверя и удивленно спросил:

— Что с ним, Гудулу? До смерти?

Волк лежал, не подавая признаков жизни, почти до полудня, потом, вроде бы пошевелился и будто стрельнул беспомощными зовущими глазами в сторону скалы и пещеры. Как попросил помощи.

— Живой? Он вроде, живой, Гудулу. Пойду, посмотрю, — пробурчал Кули-Чур.

Он пошел напрямик, по скале, спускался осторожно с помощью волосяной бечевки толщиной в палец, а Гудулу, продолжая про себя ночную беседу, вдруг подумал о том, не понимая, к чему и откуда, что, собственно, китайцы во все времена оставались терпимей соседей. Жестокость присуща не самому народу, она более свойственна безжалостным, оголтелым, как звери, вождям, сподручным и рьяным приспешникам.

И землю китайцы во все времена любили и

любят иначе соседей.

Они ее добросовестно холят, а кочевники только топчут и топчут тьмой стад, отар, табунов, пользуясь природным ее естеством.

Но правила бытия, образ жизни для себя и детей, человек избирает без всяких посредников и никто не вправе осуждать его за такое решение, кажущееся кому-то странным и неприемлемым. Как не вправе никто осуждать за состоявшийся выбор его народ, избравший историческую судьбу, навсегда отдавший чему-то пристрастие и предпочтение. Гудулу так и подумал — «народ» и, понимая, что в песках Алашани, в Ордосе все завершилось тюркским позором, впервые воспринял случившееся серьезной трагедией всего степного родоплеменного союза под именем «тюрк», для него, несомненно, самого великого.

Он раньше это «народ» плохо понимал, не до конца ощущал в себе, слышал как отдаленное временем эхо; он мало знал воли, настоящей свободы тела и разума. Нередко поступая своевольно, с вызовом, полноценной независимости не испытал, и рядом с князьями-ханами Нишу-бегом и Фунянем, шаманом Болу, Выньбегом ее по-настоящему не почувствовал. Как-то вскользь, случайно, бегом, где-то чуть-чуть мое, где-то... Промчался, переполненный гневом, проскакал в ярости на коне рядом и не услышал ее

возбуждающей благотворности, оставаясь всегда только злым, раздраженным, сокрушая препятствия на пути... Разрушал, но не строил.

Теперь это прошлое нагоняло, возникая и возникая по ночам тревожными картинками, до собственного крика болезненными, и вот явилась еще в неожиданном образе волчьей свары, способной вспыхнуть в любой дружной стае, навевая образ старейшин, смахнувших голову беспомощному хану.

И если раньше это прошлое возносило его яростью битв, сражений, ненавистью и враждой к противнику, взрывало сражениями, то волчье ночная грызня словно сместила что-то и переставила, перестав диктовать прежнюю властную силу, поселив на первом плане преследующий несмолкающий рык.

Битвами раньше он жил — только прошедшими битвами, через битвы представляя прошлое и будущее. Но битвы-то мнились уже не те, в которых он участвовал рядом с Нишу-бегом, Фунянем, Выньбегом. Их, большей частью бездарные и не в полную тюркскую мощь, не он начинал и не он завершал. Большой частью они проходили без особенной устремленности непосредственно предводителей, которые и сражаться не очень стремились, не очень понимая за что. Теперь, долгими зимними ночами, он

разворачивал другие, собственные... принесенные волками.

Особой последовательности и порядка в его мыслях не наступало. Они метались рвано и беспорядочно, вспыхивали и затухали, оставаясь горячими, утишали постоянную боль, с которой он жил с начала зимы, обозначив основными врагами Поднебесную, орду Баз-кагана, но на первое место выдвинув уйгурского князя Тюнлюга...

Добравшись по глубокому снегу до волка и снова вернувшись с ним под скалу, Кули-Чур что-то кричал.

Громко кричал, возбужденно.

Пересиливая нежелание шевелиться, придавленный оживающими картинами его новых свершений, тутун поднялся, заглянул под обрыв.

— Он живой, Гудулу! Хребет поврежден! Сдохнет — будет хорошая шкура, выживет — отпустим! Арканы! Свяжи три аркана, два будет мало, и сбрось конец.

Выпавшая на их долю зима оказалась на редкость морозной, оттепелей почти не было; изредка появлялось равнодушное солнце, словно съездившееся от холода, и тогда Гудулу с Кули-Чуром подолгу просиживали на вязанках толстых ветвей саксаула, радостно подставляя блеклому светилу обветренные, заросшие лица. За всю зиму другой радости у них не было. Горячий,

никому не подотчетный, неожиданно и необузданно вдруг взрывающийся, умеющий слышать близкую крутую опасность, тутун Гудулу и прежде умел сохранять терпение, проявив зимой в полной мере. Он терпел и себя, горячего и необузданного в невольных порывах, и мирился с неудобным Кули-Чуром, но нукер никогда еще так возбуждено ему не кричал.

Связав отыскивавшиеся арканы, намотав один из концов на руку, он другой сбросил вниз под скалу. Нукер долго возился, обвязав зверя подмышками, подал команду к подъему. Гудулу потянул за веревку, но волк болезненно заскулил.

— Стой! Стой! Так мы его совсем погубим, я — на руках, — послышалось снизу.

Раздернув узлы аркана, Кули-Чур вскинул раненого зверя себе на загривок, затратив не менее часа, поднялся с ним на площадку, проделав по глубокому снегу и скалам немалый обходной путь.

Волку действительно сильно не повезло, он был живой, но лапы его казались безжизненными. Не двигалась обвисшая голова. Молодой, недавно полный сил и волчьих желаний, с широкой грудью и вздыбленным темно-серым загривком, крупный зверюга выглядел жалким. Его замерзшая взъерошенными пучками шерсть была окровавлена. Утративший способность стоять на ногах, скалиться и рычать, сверкать угрожающе глазами,

он чем-то стал похожим... на него, тутуна Гудулу, и добавил невольной досады. Тутун поднес к его заиндевелой морде, истекающей сукровицей, кусок замороженной конины, но волк, сделав голодное глотательное движение, на большее сил в себе не нашел, и Кули-Чур сострадательно произнес:

— Каменюку суешь! Давай на костре немного подержим.

Выхватив мерзлый кус из рук тутуна, он приспособил мясо к огню и держал, пока с него не закапало и оно сколько-то не оттаяло. И долго возился, нарезаая кусочки, разжимал ножом волчьи зубы, заталкивал в звериную пасть, принуждая глотать и глотать.

Волк привнес в скучную жизнь приятное оживление. Они возились с ним как с малым ребенком, ощупывали по несколько раз в день его поврежденную холку, присыпали глубокие рваные укусы пеплом, смазывали тем спасительным, что есть на всякий случай в курджуне каждого воина. Они кормили его заботливо, отдавая зверю не самое худшее из более чем скромных запасов.

Зверь оставался зверем, дичился, рычал, не хотел признавать спасителями и благодетелями — у него было свое понимание и обстоятельств, в которых он — хозяин этих мест — оказался, и собственной волчьей чести.

Поднялся он через неделю.

Неуверенный, что способен снова ходить, мелко дрожал, дыбил шерсть на загривке. Гудулу попытался помочь ему, поддержать и едва жестоко не поплатился. Почти прежде не двигая головой, волк сделал вдруг резкое движение и склацал зубами. Только собственный инстинкт помог тутуну избежать неприятностей.

— Шайтан бродячий! — беззлобно выругался Гудулу, рассматривая чудом уцелевшую руку. — Можешь проваливать — надумал кусаться!

Волк не умел и не желал проявлять благородства, заискивать перед спасителем-человеком, он оставался своенравным сыном дикой природы. И чем больше в нем пробуждалось зверя, тем веселее был Гудулу, сам в себе пробуждая и новые желания, и новую страсть.

Волк ушел ночью. Гудулу слышал, как волк уходил. Вначале он чутко вошел в пещеру, обнюхал его убежище-нору, потому ту, в которой безмятежно дрых Кули-Чур, и долго сидел.

Он словно бы что-то внушал спасителям на прощанье по-своему, по-волчьи.

Гудулу лежал, затаившись, нисколько его не боялся.

Было такое ощущение, что зверь сочувствует ему и словно бы понимает, что его судьба немногим лучше сейчас всякой волчьей.

И все, поднялся и бесшумно ушел.

Утром его на площадке не оказалось, след показывал, что он отправился в ту же сторону, в глухое урочище, откуда появился месяц назад вместе со стаей, чтобы испытать свою звериную удачу в диких волчьих поединках за продолжении рода.

Сердце тутуна заныло, как задохнулось в тесной груди, пожелавшей простора.

Оно за всю зиму впервые так сильно и больно заныло, куда-то звало, чего-то властно просило. Весь день Гудулу был подавлен, угрюм, замкнут, и слушал, слушал только разволновавшее, гулко застучавшее сердце, в котором было много непривычной тоски и совсем не было страсти.

Молчаливым, насупленным оставался Кули-Чур; в тот день ими не было произнесено ни единого слова.

КОСТЕР НА СКАЛЕ

Зима не только зверям, и людям — особенное испытание. Зима — скучный бег времени, предел душевного напряжения. Она будто перестраивает и перекраивает, утомившуюся душу, своевольно меняя в ней что-то местами, чтобы с первыми днями возбуждающей оттепели человек мог продолжить почти умершую жизнь по-новому жадно и свежо. Не торопя мысли недостатком

времени, не стесняя и не принуждая спешить как перед принятием срочного решения, неспешностью полусонного замедлившегося течения она неизбежно что-то привносит. Может быть, безотчетно для самого человека, но властвует и над разумом и над его духом. Стирает прошлую боль, незатухающее отчаяние, огорчительные сомнения, наполняя почерневшую от испытаний и невзгод прежнюю душу ослепительно белым рассветом новых желаний.

Всё, всё входит белым, просторным, но... волк был в крови. Волк принес кровь, напомнил о крови, непреклонной звериной злобе, и белое в Гудулу — то широкое, легкое белое, вроде бы им овладевшее надежно, — белым оставаться никак не желало.

Несколько ночей подряд волк возвращался в сонную память, усаживался рядом с его заросшим лицом, долго не уходил.

Просыпаясь, тутун хватался за нож, иногда вскакивал, и зверь исчезал.

— Что? Что с тобой, Гудулу? — тревожился, открывал глаза, Кули-Чур.

— Спи, наше будущее представляю, — уклончиво говорил тутун, с головой втягиваясь в тесное логовище.

Через неделю волк перестал мерещиться и доносить навязчивым появлением. Гудулу, радуя

Кули-Чура, немного успокоился. Их убежище находилось в безветрии южного склона горы, солнце доносило сюда часть божественного небесного тепла, едва осязаемую ласку богини Умай-Эне, и суровые воины в тяжелом безмолвии белых снегов радовались ему по-своему тихо и затаенно, часами просиживая с зажмуренными плотно глазами.

Кроме забитых в начале зимы лошадей, в припасах у них нашлось вяленое мясо и курджун сушеного овечьего сыра. Отыскалось немного зерен, которые они терли на плоских камнях, измельчали, два-три раза в неделю готовя нехитрую болтушку, которая была все же приятней, чем мерзлая волокнисто жесткая конина. Тутун заставлял Кули-Чура грызть закаменевшую косточку, говоря, что сырое мясо полезно зубам, иначе скоро потечет кровь, зубы станут шататься, и к весне, когда Гудулу найдет ему молодую наложницу, Кули-Чур окажется беззубым.

— А ты? — выставляя эти кривые крупные зубы, способные справиться с любой костью, добродушно вопрошал Кули-Чур.

— Я как медведь, лапу зимой сосу, — сотворяя на лице нечто подобное кривобокой улыбке, заявлял Гудулу, и рассказывал о голодных зимах детства. О шаманке, заставлявшей добывать кору каких-то старых деревьев, есть сырой всякую

забитую живность и однажды даже пить свежую кровь медведя, которого, подняв из берлоги, сама, на его глазах, проткнула длинной рогатиной.

— Да она у тебя батыр-старуха! — с притворным равнодушием бурчал Кули-Чур.

— Увидишь, — говорил Гудулу, теплея от мысли о вредной старухе, и... видел перед глазами маленькую Мунмыш, похожую на увертливого подростка. — В глаза не смотри долго, взглядом она убивает всякую память. Она тебе не Болу, наш Болу в сравнении с ней мальчик, — хвалил он шаманку, никогда прежде так о ней не отзываясь. — Медведя взглядом убила, думаешь, силой? Камень сдвинула с ямы, я не смог.

Он часто стал хорошо говорить о старухе, в которой раньше ничего хорошего не находил.

В ответ нукер начинал вспоминать свое, как на зиму его жены, никогда не устраивая бессмысленных свар и склок, всегда вовремя и в изобилие запасали пучки разных кореньев, листьев, черемшу, чеснок, полевой лук-слизун, готовили разные отвары, заставляя его делать под зимние запасы березовые туеса. Что жены наверняка теперь достались другим соплеменникам, но зла, конечно же, кроме князя-старейшины и кагана, не держит.

Он долго не решался рассказывать о главном, что вынудило его покинуть родные места и северный косогольский огуз орды Баз-кагана, в

котором был не последним воином.

Тутун охотно подхватывал тему нехитрой беседы, не проявляя навязчивого любопытства, кивал головой в знак согласия, смеялся:

— Ты болтай, да грызи, пока есть чем. У нас черемши нет, крови медвежьей нет, конина да зайцы. Такие толстые зубы, медвежьи совсем, как у тебя, сильно болят, кулаком враз не выбьешь, как я с тобой?

Брезгливо сплевывая скапливающуюся во рту сукровицу, Кули-Чур старательно грыз, грыз мерзлое и противное мясо, подсовываемое тутуном, чувствуя, как ледяной холод сковывает зубы, небо во рту, губы. И занудно ворчал, вспоминая, как ненавидел деревенские коренья, горькие хвойные настойки, но лучше пить, чем жевать замерзшую конину.

— Больше всего, что ты любил? — жмурясь на солнышко, спрашивал Гудулу просто, чтобы о чем-то спросить, не дать беседе угаснуть. — Брагу?

— Люби-ил! — радовался Кули-Чур, вспоминая, что для лучшего вкуса в брагу добавляют сладкий корень, от чего чашка просто липнет к губам, не оторвать, и снова о чем-то долго рассказывал.

— А сладкие вина? — допытывался Гудулу, щурясь солнцу, радуясь легкости мысли, оживающей с приходом тепла.

— Китайские? Из виноградных ягод? — переспрашивал Кули-Чур, причмокивая сухими губами.

— Ну да!

— Жены мои любили, — сообщал Кули-Чур.

— Женщины сладкое любят! — охотно и чисто смеялся Гудулу.

Мысль оживает в тепле, под лучами солнца, с заходом словно бы замерзает не то на кончике языка, не то глубоко в горле, продолжая мучить и беспокоить в самой голове. Говорить вроде бы хочется, но сил нет, и они снова, точно чужие, равнодушно молчали.

Умолкая, нукер погружался в привычное одиночество, сохраняя лицо достаточно живым, сопереживающим, что в нем происходило. В глазах его, когда они открывались ненадолго, можно было увидеть и грусть, и сострадание, и мечтательность. А Гудулу и молчал по-особому. Душа его замирала, становясь безучастной и каменной, и в таком холодном отстраненном состоянии он мог оставаться часами.

— Гудулу, — не выдержав, спросил однажды Кули-Чур, — Ты о весне думаешь?

Конечно, нукер спросил не о теплом, радостном времени года, тутун усмехнулся:

— Дождемся, подумаем.

Казалось, он еще не знает чего-то, не все

может решить, испытывая сомнения, или на чем-то сосредоточиться окончательно, но, оставаясь в себе, знает уже многое.

— Весна — когда? Сейчас хочу знать, скажи, Гудулу! — осторожно и без напора допытывался Кули-Чур, сам передумав немало за долгую зиму.

— Пойдешь со мной дальше? — Глаза тутуна оставались закрытыми.

— Боюсь, но пойду, — Кули-Чур усмехнулся.

— Я пришел... Долго искал, Кули-Чур, но пришел... Часто ночами вижу шамана. Он многое помнил, с ним я стал бы сильнее.

— Найдем, найдем шамана, без шамана нельзя, — соглашался нукер. — А еще раньше сотню надо собрать.

— Нет, Кули-Чур, сотня и тысяча шамана Болу не заменят.

Гудулу так и не заговорил о своих намерениях, вызвав новое неудовлетворение Кули-Чура. Казалось бы, как нукер чувствовал по себе, с приходом тепла человек, особенно в их положении, должен оживляться, больше говорить, но тутун заметней мрачнел, сильнее отдалялся от мира покоя и равновесия.

Прошло одно новолунье, другое, минуло несколько сумрачно снежных дней, о Суване — ни слуху, ни духу. Вся обозримая округа оставалась точно вымершей. Ни души, кроме зайцев, скачущих

в зарослях, набивших много глубоких троп, и появляющихся изредка в тальниках косуль, маралов, лосей.

Иногда вдали появлялись всадники-воины, но мало ли кто и куда направляется? Появлялись и пропадали, не замечая присутствие на скале посторонних.

Проснувшись и съев, что позволяли они по утрам, Гудулу и Кули-Чур в ожидании скорого выхода солнца из-за дальней горы уселись привычно на давно выбранные камни, покрытые попонами, откинулись на скалу.

— Глаза устали, — произнес Гудулу неопределенно.

— Отчего? Ты почти не смотришь! — не менее неопределенно и негромко, себе под нос, осведомился Кули-Чур.

— Пора бы, — Гудулу шумно втянул в себя воздух.

— Пора, — согласился нукер, без труда догадываясь, что тутун говорит о Суване, и тоже вздохнул.

— Ночью ты не выходил на обрыв?.. Тебе ничего не показалось сегодня ночью? — спросил Гудулу, не открывая глаза.

— Ты каждую ночь сам выходишь, мне еще зачем? — вяло отозвался Кули-Чур. — Что... показалось?

— Не знаю, дымом подуло... Запахи принесло, а нет ничего.

— Почему ты не стал резать третьего коня, Гудулу? — вдруг спросил Кули-Чур, уставившись на окаменелую лошадиную тушу в шкуре, валяющуюся под скалой. — Хорошая лошадь пропала ни за что, и Сувану не отдали.

— Оставил тебе, — ответил тутун.

— Мне? — удивился нукер.

— Кому еще?

— Зачем?

— Чтобы уехать, если захочешь.

— Я должен был уехать? — не понял Кули-Чур.

— Мог не выдержать со мной, а не на чем...

— Куда бы я мог поехать?

— Не знаю. Уехать и все... К Баз-кагану. К любимой жене.

— Любимую у меня отобрали, Гудулу!

— А ты не отомстил и умчался.

— Готовился, мог... Другая женщина помешала, вот Баз-каган и живой... Зато я с тобой, не с Бюртом на том свете.

— Со мной тебе лучше? — Тутун усмехался.

— Не пойму! Ты отдашь даже жизнь, я убедился, то — хуже зверя, можешь убить ни за что... Нет, иногда не лучше.

— Есть время выбирать, и бывает, когда его

нет, — сухо сказал Гудулу, оставаясь с закрытыми глазами.

— Ты можешь решить, когда такое время есть, а когда его нет? Шаман Болу тоже мнил себя вровень с непогрешимым Богом.

— Хочу дальше других видеть, — спокойно проворчал Гудулу, нисколько не сомневаясь в своей правоте.

— Хочешь всегда верховодить? Думаешь, начальствующий не способен ошибиться? — усмехнулся нукер, неудовлетворенный подобным ответом.

— Способен, ошибается, но выбирает. Другие должны подчиниться.

— Почему — только подчиниться? Взять и подчиниться?

— Болу говорил: иначе нельзя... Иначе нельзя.

— А если однажды я не смогу?

— Тогда уходи, когда позволяют...

— Кто позволяет? Когда?

— Сейчас можешь уйти.

— Тебя трудно понять, Гудулу.

— Ты сам пошел. Надоело, пока не поздно, уйди. Зачем ты со мной? — Гудулу говорил схоже с тем, как с ним когда-то разговаривал шаман Болу.

— Один шайтан знает! — непринужденно воскликнул нукер.

— Когда твое время — думай ты, когда наступит мое — я буду решать.

— И мою жизнь? — любопытствовал Кули-Чур.

— И жизнь.

— Уйти, что ли? — Зажмурив глаза, как бы ни желая видеть тутуна, нукер шумливо воскликнул: — Не-ет, кто-то из нас дичает, пора уходить! Такие, как ты... таких больше не встретишь!

— Уходи.

— На чем, лошадь пала давно! Оказывается, у меня была хорошая запасная лошадь, а я не знал!

— Иди, как Суван! — Гудулу едва слышно рассмеялся. — С кочки на кочку и задом по осыпи. Видел, Суван ловко съехал?

— Нукер — пешком? Я не могу.

— Тогда оставайся и дай отдохнуть своему языку. Разговорился опять. Тепло подействовало?

— Конечно! Никогда не знал, что солнце зимой чуть не дороже глотка воды в пекле пустыни; оно возвращает радость!

— Будешь дальше болтать? — Гудулу сердился, во что-то вслушиваясь. Он давно, старательно и напряженно слушал какую-то дальнюю даль, известную только ему.

— Останусь и буду.

— Оставайся, что делать.

— Останусь, останусь.

— Напугать хочешь?

— Не-ет, в тебе что-то волчье, тутун, пусть проклянет меня Небо! Сам волк и другие... С тобой все волками станут.

— В степи только волки — главные... Да тюрки, — Гудулу рассмеялся, но глаз не открыл.

И не сразу открыл, когда Кули-Чур вдруг воскликнул, что вдали, на скале, отчетливо видит дым большого костра.

Действительно, костер был дымным, каким делают при необходимости подать важный сигнал, и они до вечера гадали, чтобы он значил, но ни движения, ни чего-то другого не заметили.

В ожидании прошла ночь и следующий день. Костер угасал на какое-то время и вновь начинал отчаянно, призывно дымить.

Кули-Чур не выдержал первым.

— Да что он значит, дьявол возьми! Если Суван — почему не идет? Другой — что говорит и кому? Проверить сходить?

— Это Егюй, — ровно произнес Гудулу.

— С чего бы: Егюй у него объявился!.. Егюй — всю зиму! Егюй! Слегка ошалел на солнце?

— Егюй, — тверже заявил Гудулу. — У костра, должно быть, Изелька, Егюй дальше пути не знает, рыскает. Изелька у костра, а Егюй рыскает. Сходи, Кули-Чур, как стемнеет.

Полный недоумения и острого желания

перемен, спускался Кули-Чур по козьей тропе в долину. Всякий раз, оглянувшись, видел на обрыве маленькую фигурку тутуна, суровую для него, властную и на таком расстоянии.

Иногда ему начинало казаться, что Гудулу вот-вот вскинет руки, полетит на другую скалу, в сладостную ему неизвестность, и Кули-Чур вроде бы ожидал, замирая, что тутун полетит, но все оставалось, как было, а оглянувшись в очередной раз, Кули-Чур обомлел.

Над обрывом, рядом с черным зевом пещерки, дымно горел небольшой костерок, на фоне его отчетливо был виден тутун Гудулу.

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

— Егюй! Егюй! Изелька, хвостик щенячий! — Догадка тутуна оправдалась, перед ним стояли нукер Егюй и мальчишка, Гудулу обнимал, мягонько тискал, смеялся, отдавая предпочтение юнцу, вскрикивал: — Изелька, чертенок! Конь мой живой, коня сохранили?

— Жив, уцелел! Как шайтан — Изельку понес! Я за ними, за ними, саблей надо махать — отста-аал! Изельку нашел — ваши следы остыли. Мно-ого дней: найду — потеряю, найду — потеряю! Слышу: там кто-то дрался с Тюнлюгом, туда уходили! Куда после ушли, перед снегом?

Где-то же надо надежно укрыться! Никто не знает, нигде нет. Пойдем, говорю, Изелька, к бабке Урыш, будет жив наш тутун, куда-куда, к сыну придет. Приде-ет, что гоняться вслепую, нашего тутуна вслепую не отыскать, приде-ет! С Изелькой легче, не один. Задержат — с мальчишкой? Отпустят, с парнишкой на войну не ходят. Задержат — отпустят. Пришли в урочище: нет Урыш. Мунмыш нет. Могилянчика нет. В кузне остались, в кузне работали, никто Тюнлюгу не выдал. Потом привезли Сувана, Суван плохой был совсем, сказал, где пещерка. Морозы спали, пойдем, говорю, Изелька, будем искать. Надо найти, как он один? Он один, мы неприкаянные, без кола, без двора... Потеплело немного — пошли-ии!

— Сувана, сказал, привезли? Почему — привезли? — допытывался Гудулу, начиная хмуриться.

— В буране заблудился Суван. Люди Тюнлюга нашли. Конь стоит мертвый! Конь замерз, а Суван живой. В сугробе лежит. Разбудили. Ищу, говорит, брата. Привезли в урочище, бросили в кузне — зачем он им?

— Живой остался Суван? — хмуро спросил Гудулу.

— Оста-ался! Пальцы на одной ноге отломились, живо-ой! Пальцы сра-азу отломились, Суван закричать не успел. «Не больно, Суван?» —

«Нет, хрупнуло только». Потом уж дурниной орал.

— Ногу жалко, — Гудулу шумно вздохнул.

— Жаль... без пальцев, — сочувственно выдохнул Кули-Чур.

— Не все, не все! Только большой самый и маленький который. Два. Хруп — и нет! Долго потом, думали, вся ступня отгниет. Хвойный отвар, березовую кору, смолу из пещеры, разное. Ба-абка! Старуха Урыш! По колено! Сидит Суван по колено в отваре, терпит. Синее, синее, Суван трет и трет кошмой, стало краснеть помаленьку и отошло. Ходить начал, ходит. Мы — к тебе, он в кузне остался. Бухает молотом помаленьку. Бух да бух, что ему?

— Отъездил свое Суван! — Гудулу был задумчив.

— Отъе-ездил! Отъездил! — кивал головою Егюй.

Разговорившись необыкновенно, проявив несвойственную словоохотливость, нукер долго не мог успокоиться; переживания его, распаяясь обилием слов, примитивным изложением, шли из него сами собой.

— А Урыш... нигде нет? — Гудулу напрягся, под скулами обозначились крупные желваки. Ему вроде бы тоже хотелось о чем-то сказать пространно и просто, в чем-то признаться, сбросить какой-то свой непосильный груз, но расслабиться,

как Егюй, отдаться простым, оживающим чувствам не удавалось. В нем, наоборот, не проявляясь особенно, радуясь обретению нукера и мальчишки, тревожное медленно умирало. Ему тяжело было держать эти чувства в ожившем сердце, но и показывать, как Егюй, Гудулу не хотел.

— Нигде. Точно сквозь землю ушла. Взяла Мунмыш с Могилянном и как провалились. Си-ильно искали, всех поставили на ноги, кузни закрыли! Снег по брюхо коням — искали. Сорока долго летала. Летала, летала! Стрекочет, стрекочет — старухи нет. Чуть не убили. Помнишь сороку? Кто-то из наших нукеров тогда еще сбить захотел — стрекотала над самыми головами. Ну, когда в первый раз мы пришли, помнишь? Говорят: сорока здесь, здесь и старуха, ищите лучше, коней в награду дадим. Искали, искали!

— Кто искал? — скорее догадываясь, чем понимая, о чем бормочет Егюй, Гудулу будто оскалился.

— Кому говорили. Тюнлюг приказывал, больше месяца с нами жил. Всё из кузни увез, что с осени сделали. Чем весной торговать? — сокрушался Егюй и, разглядывая свои крупные натруженные руки, словно жалел все, что ими было сделано.

Егюй казался незнакомо мирным, пришедшим из другой жизни, полной мелких обычных забот,

которыми Гудулу никогда не жил в полную силу, не слышал их постоянное присутствие в себе, потребность телу, рукам, разуму и о которых мало думал. Эта повседневная обыденность незначительного, всегда кажущаяся мелочно надоедливой настоящему воину, никогда надолго не овладевала им, но вдруг затронула; посмотрев на крупные руки Егюя, он с любопытством спросил:

— А другие птицы? У нее разные жили. Ворона была, на плечи садилась. Голуби... Говорят, могли на Байгал слетать к белым шаманам... А сорока — та дикая, никого не подпускала.

— Тихо стало, почти нет голубей, — вздохнул Егюй, и добавил: — Но у меня есть. Спрятал, в лесу, Пошлем Сувану хорошую весть, я обещал.

— Убили и съели?

— Кто знает, может, люди Тюнлюга позарились, — согласился Егюй.

— Волк был большой и собака... Могилян катался.

— Волк! Волк был, был такой слух, какой-то волк повадился в коши Тюнлюга. По десять овец вырезал за одну ночь. Говорили, шаманка наслала, но волк тоже пропал. Не-ет, волка не убили, пропал и пропал. Зима, время гулянок, ушел подругу искать.

— А разбойники? — как можно равнодушнее спросил Гудулу, склоняясь к огню и предполагая

неприятный ответ. — Видел?

— Не-ет! Этих раньше не стало, до снега ушли. Тюнлюг налетел — разбежались! У старухи кого-то видели несколько раз, а кто приезжал, зачем приезжал? Что им, не все равно, кого грабить?

Беседа разгоралась, затухала и опять разгоралась непринужденно, без всякой последовательности. Изелька привычно возился с костром, готовил болтушку, выкладывал на кошму привезенные припасы. Гудулу размягчался, наблюдая незаметно за мальчишкой, уже почти юношей.....

Снова крепчал мороз, мёрзло хрустел снег под ногами Изеля, Кули-Чур поеживался, но тутуну было хорошо и тепло.

Егюй беспокойно заворочал головой, принюхиваясь брезгливо, спросил:

— Конякадохлый лежит! Что за коняка, Гудулу? Портиться начал — прет за версту.

— Солнце пригрело, портится, — подтвердил Гудулу, не без удивления взглянув на мертвую лошадь, которую раньше вроде бы не замечал.

— Давай уберем, сколько будет лежать? Сбросим вниз. Волки приходят — злые бегают, стаями. Сожрут.

— Вороны, вороны! Волкам дохлятина не пойдет.

— Ладно, вороны, — соглашался Егюй, и

повторял: — но сбросить-то надо.

Изель позвал к достархану. Сидели до темноты, вспоминая что-то и вспоминая. Говорили обо всем, но никто не говорил о завтрашнем дне и что с ними будет.

Ночью привиделась Урыш на руках с младенцем... Изелем. С Изелькой, не с Могилянцем. Гудулу рассердился, что на руках у нее не Могилян, закричал на старуху.

«Снова пришел... носит его по свету! — огрызнулась старуха. — Из-за тебя-яя! Принес нам беду, теперь токо бока подставляй — с Тюнлюгом надумал связаться».

Кто-то хрипел перерезанным горлом за спиной, и Гудулу в испуге обернулся. Нишу-бег стоял в двух шагах, протягивал окровавленные руки. Оставаясь... безголовым.

Урыш погрозила синим скрюченным пальцем, который вдруг, хрустнул пересохшим сучком и отвалился, оскалилась, став похожей на волчицу...

По желтым длинным ее зубам стекала розоватая слюнка.

Гудулу сильно дернулся, чтобы слюна не упала ему на лицо — он ее испугался, не зубов, — и проснулся, пролежав до утра с открытыми глазами, полными плотной ночной вязкости, не желая рассвета. Ночь была для него приятней и сокровеннее дня, когда... все на виду один у

другого, и снова в ожидании будут смотреть на него...

Утром он объявил:

— Волки стаями ходят, пора собираться... пока Тюнлюг не пришел. Хуже не будет.

— Не будет, — охотно согласился Кули-Чур, словно этого только ждал, и спросил: — Куда поведешь? Мунмыш станем искать? Могиляна?

— К Тюнлюгу пойдем, — спокойно сказал Гудулу.

— Соскучился? — Кули-Чур усмехнулся.

— Пойдем! — Гудулу напряг желваки. — Не я ему должен, он должен мне.

— Сытых коней достать бы, одёжку получше! — Кули-Чур не принял всерьез произнесенное тутуном, но мечтательность в глазах не потушил.

— А бабу не хочешь? — хихикнув, спросил Егюй. — Вы с тутуном в самой силе, правда, Гудулу?

— У Тюнлюга возьмем, у него много, — мирно проворчал Гудулу.

— Кого, Гудулу, княжеских жен? — Кули-Чур разом как-то посмурнел, нахмурился.

— Коней, хорошую одежду, — произнес Гудулу так, что у Кули-Чура разом отпали сомнения в серьезности намерений своего вожака.

Кули-Чур сдержанно спросил:

— Объявляешь уйгурскому князю беспощадную барымту?

— Начал Тюнлюг, Небо видело... Тюнлюг умрет, — ответил холодно Гудулу.

— Давай начинать с Тюнлюга, глядишь, и мое желание может исполниться, — согласился холодно Кули-Чур.

Пристально посмотрев на него, словно порываясь о чем-то спросить, оставшемся меж ними невыясненным, тутун отвернулся.

К поведению тутуна, непонятному ходу мыслей в нем Кули-Чур никак не мог приспособиться. По грубой простоте он считал, что тутуна привели в горный край стечение обстоятельств, отцовские чувства, что предгорья Алтая, орхонские степи они покинут, как только найдут, что тутун ищет, и тогда... он предложит ему...

От того, что он мог бы предложить тутуну, нукеру стало жарко. Кули-Чур долго ковырял угли в костре — просто ковырял, вроде бездумно и, без желания выпив чашку болтушки, вдруг вскинул голову и спросил:

— Гудулу, мы навсегда остаемся?

— Мы пришли, — ответил Гудулу.

— Будем шайкой разбойников? — досаждал Кули-Чур.

— Мы на землях наших отцов, Кули-Чур. —

На этот раз Гудулу не напрягал желваки, не рычал, как иногда мог зарычать, подобно рассерженному зверю. Он был во власти неизбывной тоски и своей удручающей грусти.

— Земли наших отцов давно утрачены, Гудулу. Что из того, что пришли?

Егюй равнодушно посапывал, совершенно не слушая, о чем говорит его хозяин, уже принявший решение, подлежащее исполнению. Он внимательно перебирал одежду тутуна, что-то в ней исправлял, подвязывал и перевязывал. Молчаливый Изель помогал усердно.

Когда спор Кули-Чура с тутуном надоел, Егюй оторвался от мелких дел и не громко сказал:

— Коней я привел, они внизу, в глухомани. Пять человек прихватил на всякий случай... Что за одежда, тутун? Как вы жили? — Егюй приподнялся с кучи хвороста, встряхнул то, что держал на коленях, осыпавшееся выпревшей шерстью. — Гудулу всегда такой, а ты, Кули-Чур?.. Кош один близко. Тюнлюг старшину оставил мзду собирать. Сходить бы к нему — почему не сходить? Всем надоел: ездит и ездит, все мало и мало.

Не выразив удивления, что Егюй чем-то разжился, прибыл не один, Гудулу рассмеялся:

— А ты предлагаешь дать ему много?

— Дать сразу, а как же?! Сам давно просит. — Узкие глаза Егюя почти закрылись от лукавого

удовольствия.

— Где кош, знаешь?

— Кто не знает, все знают! Со мной пришли его люди. Сборщики княжеской дани.

— Сборщики — серьезно, у меня брат Дусифу лучший сборщик Ордоса... Не плохо живет, — хмыкнул беззлобно Гудулу.

— Неплохо, неплохо живут! Старшина только дерется, когда они мало привозят.

— Сильный такой? — Гудулу неожиданно повеселел.

— Жирный, тяжелый. Едет, едет и засыпает прямо в седле. Шуба теплая, коню до хвоста, что ему?

— Стражей много? — спросил Кули-Чур.

— С полсотни.

— Дальше! — произнес Гудулу.

— Куда дальше! Я сказал: у него много, у нас мало, — обиделся Егюй. — Пойдем и возьмем. Стражи, не стражи...

— Пойдем, — легко и бездумно согласился Гудулу.

С Егюем ему стало спокойно, как было всегда. Егюй был надежным, устойчивым, почти обязательным в его новой жизни, приносил равновесие.

— Стражи, не стражи, поведешь, Егюй. Пойдем и возьмем, пока нам надо немного...

Кули-Чуру наложницу я обещал, Кули-Чур мерзлое мясо за это ел всю зиму.

— На мерзлый зуб, что ли, пробовать станет? — мирно бубнил Егюй, доставляя тутуну тихий, желанный покой, растекавшийся по всему его утомленному телу...

ПЕРВЫЙ НАБЕГ

Тутун Гудулу долго стоял над обрывом, уставившись в белесую даль, где не было ни горизонта, ни неба.

Всё было белым, легким, светлым вокруг — как посветлело в душе.

Устав стоять, он медленно повернулся.

Изель наводил порядок на запущенной площадке. Собирал и сбрасывал с обрыва старые полуобглоданные кости.

Он явно набирал изрядный вес и хорошую силу — она в нем уже проступала.

Хороший рос у Егюя сын!

— Что, Изель, возьмем один из кошей князя Тюнлюга? — Гудулу сгреб Изеля в охапку, попытался в азарте подбросить.

Изель оказался тяжелым, Гудулу поскользнулся на утоптанной площадке, испугавшись, что может упасть с обрыва, отбросил Изельку, с трудом устояв, сам на него повалился. И

они завизжали, барахтаясь: мальчишка лез из-под тутуна, хотел освободиться скорей, Гудулу, ощущая азарт, не отпускал.

Егюй хмурился осуждающе.

— Отпусти, Гудулу! Отпусти, — брыкался в крепких руках тутуна мальчишка, визжал, переполненный удовольствием.

— Не лезь никогда под руку. Забрался под руку тутуну! — выговаривал строго Егюй, и сам, увлеченный возней сына с тутуном, неожиданно засмеялся: — Гудулу, скоро ты с Изелькой уже не справишься!

— Зато Могилян справится; сын отца в обиду не даст. Собирайтесь, ночью выходим, — поднимаясь, отряхивая снег, решительно произнес Гудулу.

Подставив слезящиеся глаза предвечернему солнцу, закинув руки за шею и покачавшись, он вдруг разбросил руки в стороны, сильно потянулся и, скинув с себя верхние одежды, оголился до пояса.

— Пора завершать с ... этой зимовкой! Разотри-ка, Изель, как следует! Когда спишь да спишь, как медведь в берлоге, кровь остывает! Помоги как следует!

Склоняясь над сугробом, тутун ежился, передергивался, втягивал волосатый живот. Встав на четвереньки, замотал головой:

— У-уу, холодно! Отвык! Скорее, скорее!

Изелька с опаской бросил пригоршню снега на спину тутуну, Гудулу заухал громче, закричал почти визгливо:

— Растирай! Ты растирай! Сильнее! Кули-Чур, помоги, пока я живой!

Повеселев, отринув всякую осторожность, Изелька бросал белую зимнюю мякоть пригоршнями, Кули-Чур прихлопывал по спине тутуна тяжелой пятерней и крепко втирал этот снег, похожий на пух, в синюю кожу, начинающую испускать парок.

Егюй топтался рядом, неодобрительно, сердито ворчал.

— Ух! Ух! Лучше! Наверное, буду живой. У-ух! — захлебываясь, вскрикивал Гудулу.

Пар от его спины поднимался гуще, спина покраснела. Прогнувшись, выскользнув из-под рук нукера, Гудулу сам, яростней, стал натирать себе грудь, лицо, шею и плечи.

Он был худ и жилист, выше всех ростом, густо заросший черными волосами. Довольно длинные, кое-где пучками, они покрывали и плечи его, и грудь, и спину, стекая по желобку хребтовины вниз.

И втянутый живот его был весь волосатый — особенно был волосатый, как непролазные заросли саксаульника внизу под обрывом.

Ухая и охая, смешно растопырив руки, он вдруг опять погнался за Изелькой, схватил, бросил в сугроб. Мальчишка завизжал, перевернулся, вскочил изворотливо и побежал вокруг костра, в который Егюй набросал толстых сучьев саксаула.

— Пойдем и возьмем, правда, Изель! — хохотал Гудулу, неуклюже пытаясь догнать Изельку. — Пойдем и возьмем, то у них много, а у нас пустые курджуны! Настала наша пора! Держись, князь Тюнлюг!.. Ах ты, увалень толстозадый! — Поймав, наконец, мальчишку, несильно встряхнув за ворот, Гудулу поставил его впереди себя у костра, навалившись, затих.

Сняв поспешно, Егюй распахнул над костром свою шубу, награв, набросил на плечи тутуна, снова присел у огня.

Запахиваясь и улыбаясь, радуясь приятному теплу согретого шубного меха, Гудулу присел рядом, блаженно зажмурился.

С тутуном что-то происходило — Кули-Чуру, пробывшему с ним рядом больше трех месяцев, особенно было заметно. Не с женой и сыном жил он в мыслях, не с семьей! Не к ним стремился в первую очередь. Но куда и к чему — знает ли сам?

— Знаю! Знаю, чего хочу больше всего, — произнес Гудулу, словно услышав нукера, и резко поднялся.

Скоро, следуя гуськом за Егюем, они

спускались в глухой лесистый распадок избитый глубокими заячьими тропами.

Лагерь спутников Егюя был в заснеженных дебрях на звонком ключе. Под прозрачным ледком с пузырьками воздуха, среди хрустких заберегов весело резвился ручей. В него с камешков ныряли юркие пятнистые рыжегрудые птицы, в названии которых тутун разбирался плохо, и которых Урыш называла, вроде бы, водяными воробьями. Они были очень проворны, ловко подныривали под струи, стекающие с валунов и образуя незначительных водопадики. Бесстрашно расхаживали под водой, забираясь под прозрачный истончившийся лед, находя там поживу и ловко ее склевывая. И ничего не пугались.

По сучьям елей и сосен, осыпая снег, скакали не пугающиеся людей белки. Было много красногрудых и сине-желтых пичуг, толстых и ленивых, не спешащих уступать путникам дорогу. И тишина! Вокруг словно замерло, опущенное и придавленное взлохмаченной, будто бородатой тяжестью устоявшейся белизны. Снег был мягок, словно пуховая перина, и был нежен, как сказочно недоступное тело заколдованной красавицы. Его можно было топтать грубой обувкой, можно было пинать, бороздить, раздвигать, но им нельзя было владеть — подхваченный на ладонь, он быстро таял.

Гудулу давно не видел настолько девственно чистого, мягкого лесного снега из детства, забыв, каким он бывает на самом деле. Он полнился силой, вдыхая и задыхаясь жгучим холодом, оживала его истомившаяся душа.

Спешившись у жаркого лесного костра, Егюй назвал тутуну спутников, прибывших с ним с верховий Орхона, и показал на двоих:

— Они служили Тюнлюгу.

— Ойхорцы? — спросил Гудулу, с любопытством оглядывая непривычных Степи голубоглазых воинов.

— Мы кемиджиты, — ответили коротко.

— С верховий Улуг-Кема. За высокими перевалами, где азы и чики. Там князь Умай-бег, — пояснил Егюй. — Ходили в набег с полутуменом правителя на Байгал, на племена народа байырку, неудачно ходили и стали рабами. Тюнлюг выкупил, отдал старшине. Они знают, где кош и стоянка.

Не проявив дальнейшего интереса ни к лесным людям, ни к планам нападения на кош старшины князя Тюнлюга, захваченный зимним лесом, чем-то томительно возбуждающим, сухо сказав: «Решайте сами, Егюй... Решайте, решайте, я соглашусь», — Гудулу, вытянув руки, присел к огню.

В набег они пошли не сразу, неплохо прожив остаток зимы в лесной глуши, дождались устойчивого тепла, когда на равнинных землях почти полностью сошел снег и проклюнулась травка. У загонов наткнулись на злобных собак, но бывшие слуги старшины кемиджиты с Улуг-Кема, быстро утихомирили. Вначале намереваясь захватить с десятков коней, кое-что из одежды, оружия, утвари — что подвернется, и умчаться, вскинув на седло по овце, Гудулу, неожиданно натолкнувшись на большую белую юрту, аккуратно обведенную канавкой для лишней воды, вдруг натянул повод.

Начинало брезжить, прояснилось блеклое небо.

Кули-Чур что-то кричал, требовал и торопил, но Гудулу перестал его слышать.

Приподняв саблей полог, увидел теплое уютное царство, мирно сопящих женщин с припухшими в сладостном изнеможении мягкими губами, спящего среди них под шелковым одеялом тучного старшину-нойона, рядом с головой которого, вяло шевельнувшись, присел ненадолго, без того невысокий огонек жирника.

Потухни он и, наверное, ничего бы не случилось. Гудулу выдавил бы на губах пренебрежительную ухмылку — еще один боров

дрыхнет в бабьей постели, считая себя мужчиной, — и отпустил полог.

Огонек не потух, всколыхнув что-то нервное, нервное и раздражающее, затмившее свет. Перехватило дыхание и он замер. В лицо дохнуло волной ночного семейного тепла, запахами сытости, уюта, которых Гудулу давно не ощущал. Безмятежный сон хозяина юрты, обложенного подушками, на каждой из которых лежала женская голова, показался вызывающим — вот пришел чуждый земле воин, поставил юрту на землях отца...

Ударило в голову что-то неуправляемое и безотчетное, как у тех же собак, услышавших раздражающие чуждые запахи, сердце бешено рванулось.

Неприятие чужого покоя наполняло особенной горячечной лихорадкой. Ощущая мелкую дрожь сабли, тутун ее острием коснулся груди старшины и глухо обронил:

— Проснись.

Наверное, голос его походил на замораживающий голос бога мертвецов, и был так воспринят в ужасе вскинувшимися в юрте.

Глаза у всех только блестели — другого тутун в них не видел. Мягкие сонные губы женщин, раздвинувшись в невольном желании закричать, закричать не смогли. Обнажив кривые желтые

зубы, они будто бы вдруг отвердели, исторгая единый страх и единое для всех онемение...

Да, он был для них Бюртом — богом загробного Черного мира!

Наполняясь мстительной сладостью ощущений, Гудулу рассмеялся, подобно страшному богу тьмы.

— Ты кто? Ты зачем? — нашел в себе силы шипящим каким-то шепотом спросить старшина.

Хозяин был глуп даже для того, чтобы как следует напугаться. Он только шевелил толстыми губами, лоснящимися от жира поздней ночной трапезы в окружении мягкотелых жен и наложниц, бессмысленно блымал пустыми глазами.

Потерянность тучного нойона доставляла наслаждение, Гудулу в нетерпении чего-то ждал.

Он ждал и ждал, ощущая томление в груди, острые покалывания в ней, ликующий напор крови в сердце.

Тутун Гудулу пришел! Он способен заставить чуждых здесь содрогнуться!

Утро набирало разгон, в юрту вползал сырой серый рассвет. Легким ознобом поднявшись по ногам тутуна, по спине, он, странный этот рассвет, скатился на плечи, на вытянутую в сторону старшины руку, потек по жалу сабли на голую грудь старшины...

Наконец старшина закричал...

Он закричал, как тутуну хотелось.

Безумно, лишаясь рассудка.

Вмиг позабыв обо всей своей легковесной жизни.

О добром и злом.

О совершенном и только задуманном.

Старшина видел острие сабли тутуна и ничего больше не замечал. Ни теплых жен или наложниц, ни богатств, наполнявших юрту, — пустой у него был взгляд. Только блескучий булат сабли да стекающее по ее желобку серое утро отражались в его расширившихся, оторопело выпученных глазах.

Последние, может быть, в самодовольной тупой жизни желания, владели этим жалким разумом.

— Ты кто? Зачем? Что тебе надо? — Голос нойона дрожал.

— Тот, кто пришел на земли наших отцов навсегда, — глухо произнес Гудулу, испытывая дьявольское искушение сильнее навалиться на рукоять, толкнуть ее взмокшим телом, содрогающимся, отяжелевшим. — Я пришел... тутун Гудулу. Тюрк по крови отца.

— Ты настоящий тюрк? Откуда ты пришел?

— Самый настоящий.

Слов у тутуна больше не находилось, говорить ему не хотелось.

— Но ты уйдешь? — глупо, до невозможного

тупо спросил старшина. — Возьми, возьми, что хочешь, не возражаю... А когда ты пришел?

— Только что, — усмехнулся Гудулу.

Перестав дико кричать, проснувшиеся жены нойона сползались в кучу. Одна из них, пухленькая, как сам нойон, пышногрудая, лежащая слева, тянула на себя одеяло, а другая, лежащая справа от господина, похожая на худосочного ребенка, противилась и не отдавала. И другие возились, охваченные страхом, пытались зарыться в постели.

Томные со сна и плохо соображающие, они моргали, моргали, оставаясь полуголыми, с разъявленными, одеревеневшими ртами.

Тишина установилась одуряющая, и была она хуже криков — Гудулу задыхался, рука его тряслась нервной дрожью.

— Вставай, следуй за мной, — сказал тутун, убирая саблю.

— Я не пойду. Куда я пойду? Я не пойду! — Старшина натянул одеяло на жирный подбородок, не замечая неприятной оголенности жен, порывался натянуть его и на голову.

Повизгивая, жены противились, не отпускали свои края.

— Пойдем, тебе лучше пойти... навсегда уехать. Скажешь Тюнлюгу: был тутун Гудулу... Всем будет лучше, не стоит пугать твоих женщин, — почти мирно предложил Гудулу,

радуясь, что нашел силы поднять и убрать с его груби саблю.

— Уйди! Сам уходи! Забирай, что хочешь.

— Что у тебя забирать? — удивился Гудулу, чувствуя, как опять невыносимо тяжелеет длинное жало, и вдруг спросил: — Жен можно? Остальное оставлю, а жен заберу.... Или всё заберу, а женщин оставлю.

— Забирай! Жен забирай! — Старшина охотно кивал головой, упираясь жирным подбородком в мягкое одеяло. — Приедешь, еще дам, здесь у меня не все.

Одеяло вдруг показалось синим, как знамя Урыш, а потом стало зеленым — Гудулу всматривался напряженно, не в силах понять, какое оно все-таки, и нервно спросил:

— У тебя одеяло зеленое?

— Нет, оно синее, — сказал издалека, из-под одеяла старшина.

— Жаль, что не зеленое. В Степи синим должно быть Небо и... знамя Урыш. — Нервно вздохнув — нервно, захлеб, — Гудулу не смог больше держать настолько тяжелую саблю — непомерно тяжелую, и не смог удержать ее самовольное движение вперед, в мягкую грудь старшины.

Она сама по себе повлекла его за собой, вошла в нежный пух, убивая чужое синее... одеяло.

Одеяло он убивал, не жалкого человека.

И вышел, не слыша ничего, ничего не понимая.

Медленно поднялся в седло, твердо поставив ногу в стремя, медленно поехал.

Люди Егюя, сделав нужное дело, уводили наметом небольшой табунок лошадей, Егюй с Кули-Чуром поджидали его.

— Одеяло, — сказал Гудулу, сверкая глазами, полными беспамятства.

— Какое одеяло, Гудулу? — спросил Кули-Чур, оглядываясь на юрту старшины.

— Большое! Оно было синее... мягкое совсем... Как он посмел укрываться синим одеялом?

Серый рассвет заползал в густые кустарники. Блеяли овцы. Истошно лаяли собаки.

А небо перестало светлеть, замерев на странном переходе тьмы к свету.

Полумгла тяготила. Тутун гнал коня, спеша покинуть эту вязкую серость, и покинуть не мог. Она держала его, она была в нем, ворочалась вокруг взбесившегося сердца, взрывала оглохшее сознание.

— Я пришел, — говорил Гудулу сильным шепотом. — Тюнлюг, я пришел, берегись, осквернив земли моих предков!

В разгон разогнавшейся весны, полной страсти и буйства живого, спешащего проклюнуться первой травой, по краю Черных песков легким наметом, развевая длинными гривами, шел огромный табун из нескольких тысяч коней. Его гнали Егюй и сотня нукеров.

Одолев немалое расстояние, табун достиг примитивного тюркского лагеря, когда-то заложенного в песках Алашани шаманом Болу.

Мужчин в лагере почти не было, только женщины, дети, престарелые. Лагерь был полуразрушенным, с обгорелыми, провалившимися и кое-где восстановленными плоскими крышами. У входа в капище с останками вождей, перенесенных когда-то по приказанию Болу из Ордоса, сидели в бесчувственном отрешении равнодушные, точно уснувшие старцы-шаманы.

Осадив коня перед юртой в центре, Егюй громко сказал сбежавшимся людям:

— Тутун Гудулу шлет подарок. Будет возможность, пригоним еще.

— Возьми нас к тутуну! — кричали женщины, пережившие нелегкую зиму. — У нас не осталось мужчин!

— Приходят китайцы, у нас отбирают детей.

— Где тутун Гудулу?

— Кто хочет услышать — услышит! Кто хочет найти — найдет! — ответил Егюй.

Отвязав курджуны, переметные сумы, приказав то же сделать нукерам, Егюй развернул коня.

— Я узнала тебя! С тобой уходил мой муж! Ты должен вернуть моего мужа или меня заberi! Заberi меня! — кричала тяжелая толстоногая женщина, бесстрашно пытаясь ухватиться за стремя Егюя.

Упав, она поднялась, опять побежала.

И многие другие бежали, падали и снова бежали.

Отряд Егюя стремительно уходил в зеленую Степь, наполненную свистом и трескотней, шумом тяжелых и легких крыльев, тоненькими, звенящими переливами под самым солнцем веселых и беззаботных пичуг.

Степь летела навстречу. Желанная волей, свободой, но опасная и пока что Егюю чужая.

В ШАТРЕ БАЗ-КАГАН

В середине лета в ставку Баз-кагана — правителя на реке Толе, съехались почти все степные вожди Прибайгалья и Селенги, был среди них и чаньяньский монах Бинь Бяо с двумя высокопоставленными китайскими военными. Из

самых знатных в Степи отсутствовал престарелый джабгу татабов Бахмыл-онг, приславший, как и зимой для участия в общем походе на тюркского хана Фуняня, своего сына Ундар-буке, и не было никого от соседствующих рядом с татабами малочисленных эдизов, утративших единоначалие. Говорили об участвовавших грабежах и разбоях дикого тюрка — тутуна Гудулу, и говорили не один день.

— Он ограбил четыре уйгурских рода, три телесских, угнал десятки косяков лошадей, проткнул саблей нойона! — сыпались жалобы мелких правителей.

— Трое моих слуг были повешены головой вниз!

— К нему бегут наши рабы!

— Вырезал дюжину кошей на Среднем Орхоне, где владения князя Тюнлюга!

— Как ветер! У него нет постоянного лагеря, как нам его поймать, Баз-каган? У волка и то всегда постоянное логово! А у этого каждый ночлег под случайным кустом! — кричали, перебывая друг друга, нойоны, старшины, тарханы, князьки. — Сколько тутун может свирепствовать? Пойдем на него!

— У него лишь какая-то сотня, каган!

— Слушаю вас третий день, и не пойму, что есть у тюрка-тутуна, чего нет у вас? — утомленно

взглянув на стареющего кагана, раскинувшегося на шелках и мягких шкурах распаханного шатра, спросил монах.

Огромный шатер на крутом возвышении, с разгону который осилит не всякий конь, стоял на колесах, вкопанных по самые оси, полог его был приподнят, и взору Бинь Бяо представляла панорама телесского поселения, разбросанного по лугам и побережью. Искрилась на плесах степная река, доносился гомон купающихся ребятишек, что скрашивало неприязнь его к бестолковым вождям и скуку.

— Просто везет, он, в самом деле, какой-то счастливчик!

— Посылаем отряды в одну сторону, он появляется с другой. Посылаем погоню, след снова остыл! Князь Тюнлюг не может поймать, как мы поймаем? Скажи, князь!

— Говори, князь Тюнлюг, ты молчишь! — приказал правитель Толы и Селенги.

— У волка волчьи повадки. Должен признать, каган, Гудулу-тюрк уходит умело. Помнишь, гонялись с тобой до самой зимы? — Князю не понравилось, как правитель обратился к нему, без должного почитания; ответив не без намека, что и с каганом поймать тутуна не удалось, Тюнлюг усмехнулся.

— Как волк! Он волк из Черной пустыни,

Баз-каган! С весны совсем страх утратил! — поддержали уйгурского князя.

— На Черного волка нужна большая охота, каган, — оценивая оказанную поддержку и высокомерно приосанившись, произнес уйгурский князь.

— Облавой пойдем, Баз-каган! Стань во главе!

Монах Бинь Бяо, недовольно сузил глаза, заворочался, склонившись к сидящему рядом ханскому управителю Як-Тургану, спросил:

— Княжич на берегу? Ветер поднялся, нельзя ему в воду.

— Не пустят, не пустят! С ним Саум-баатыр, наставник Рахмин, не позволят, Бинь Бяо, — ответил поспешно и тихо одноглазый атлыг-управитель.

Баз-кагана присутствие монаха чем-то стесняло; догадываясь, монах приподнялся:

— Нет, пойдем, Як-Турган, проверим.

Едва они вышли, Баз-каган вскинулся недовольно.

— Так волк он или счастливчик? — В его возгласе была нескрываемая издевка. — Не можете выловить сотню злобных тюрок, а что станете делать, когда соберется тысяча? Объявлять на всю Степь о войне Селенгинской орды с шайкой грабителей? Соседи поднимут на смех!

— Гудулу хитер и отважен, каган, однажды придет и к тебе, — потерявший больше других от набегов тюрка, не без угрозы бросил Тюнлюг, сохраняя подавленность.

— Покинь на время хотя бы его урочище, князь Тюнлюг! Распустив над своим родом синее знамя, ты озлобляешь не только тюрка-тутуна, — ответил каган холодно. — Вспомни, зачем приходил Гудулу и как ты с ним поступил? Оставь, что тутун просит, возможно, утихомирится.

— Я поклялся снять с него кожу! — возражал упрямо Тюнлюг.

— Ты оскорбил тюрка-тутуна, Тюнлюг, разъярил волчицу-шаманку Ольхона. Поручив тебе тутуна, я допустил ошибку, и ты первым за нее платишь, — позабыв о приличиях и собственном величии, хмуро и резко бросал каган.

— Соглашусь, упустил, и не соглашусь, что тутуна можно утихомирить, — пользуясь паузами в речи кагана, связанными с отдышкой, шумно возражал князь. — Он продолжает начатое в Ордосе. Черный волк продолжает, каган! Открой глаза, объедини, попросим помощи у великой империи, спина не переломится! Хочешь, я снова поеду в Чаньань?

Баз-каган сердито подернулся:

— Когда ты сказал об этом послам Гаоцзуна, которые завтра покинут нас, они весь вечер

смеялись.

— Смеялись не все, Баз-каган, только военные. А лицо монаха Бинь Бяо видел? Видел, каким он сейчас нас покинул?

— Бинь Бяо что тебе сказал, князь? — Баз-каган уставился на Тюнлюга.

— Что из того, что Бинь Бяо сказал! Бинь Бяо сказал: «Вы нажили врага, не сумев принять его дружбу», ну и что? — сердито вскинулся князь.

— Посланник великого императора просил тебя через своих людей предложить встречу тутуну, — напомнил каган.

— Бинь Бяо просил... — Тюнлюг смутился.

— Князь Тюнлюг исполнил просьбу императорского посланника?

— Разговор с Бинь Бяо состоялся вчера, — замялся Тюнлюг. — Я не успел.

— Вернувшись из Чаньани, ты много говорил о великой У-хоу и ее советнике. Бинь Бяо — не доверенное лицо этого советника? Ты настолько захвачен собственной злобой?

— Монах! Монах! Что дает нам какой-то монах? — Миролюбие, вялое примиренчество кагана никак не устраивало князя, и Тюнлюг сорвался на крик.

В мире не было еще ни одного спора, который разрешился бы к полному и всеобщему согласию. Всякий спор — несогласие, и в нем как бы две

истины, из которых на самом деле ни одна полной и доказательной никогда не является. Даже самое миролюбивое его разрешение оставляет и неудовлетворенных и злобствующих, и что бы сейчас не предложил правитель Селенги, утишить злобу уйгурского князя Тюнлюга, жаждущего лишь одного — жестокой мести тюрку-тутуну, едва ли было возможным.

Небеспричинно опасаясь князя-вассала, не всегда считающегося с его волей, правитель междуречья Толы и Селенги не мог не считаться с его мнением и уклончиво произнес:

— Начав по своему усмотрению, сам и заканчивай с тутуном-счастливчиком, князь Тюнлюг, я буду на стороне монаха из Чаньани.

— Мы выпустили злобного тюрка в Степь, мы и поймаем, — не скрывая надменности, произнес рассерженный уйгурский князь. — Я пойду облавой на волка вместе со всеми.

Распустив совет, каган попросил задержаться в шатре юного Ундар-сенгуна и мягко сказал:

— Твой родитель, Ундар-буке, онг Бахмыл, старый мой друг. Волею Неба мы возвысились над своими народами одновременно... Что сказал онг Бахмыл, отправляя тебя ко мне?

— Он сказал: не способные разрушить, против собственной воли они всегда укрепляют, — произнес юноша.

— Онг Бахмыл боится степного бунта?

— Бунт завершился. Но, не сделав уступок тюркским князьям, Кытай проиграл. В Степи началась другая жизнь, тебе, каган, опасная больше, чем отцу.

— Великий Кытай победил и развеял тюркские тумены! — Каган вскинул широкую бровь.

— Топот тюркских коней, недавно слышимый лишь в Алашани, сейчас раздается по всей Ольхонской степи, где в трудные прежние времена мужало тюркское сердце. А Кытай сюда не придет. У него снова неладно с Тибетом, ширится слух о тюргешском волнении в Кашгарии. Генерал Хин-кянь воспротивился казни тюркского хана Фуняня, сдавшегося под честное слово генерала, теперь Хин-кянь в ссылке и у Кытая больше нет достойного военачальника для похода на север — сказал мой отец.

Юноша еще не привык, когда с ним разговаривают на равных, и заметно смущался, передавая не всегда почтительные слова родителя, на пухлых щеках у него появлялся густой багрянец. Он находился в начальной поре становления мужчины, но костью был крепок, на лицо миловиден. Он был здоров, доставляя этим пышущим благоуханием и крепостью зависть кагану, сын которого стать таким никогда не

сможет. Болен, болен его Дуагач — последняя радость души.

С завистью наблюдая за юношей, вслух каган произнес:

— Монах Чаньани Бинь Бяо получил сообщение: возмущение, затеянное в Кашгарии, на Или, у Теплого озера в поддержку тюркского у нас, завершилось полным разгромом бесчинствующих. Отрублено семьдесят мятежных голов, тюргеш-ашина Кибу-чур схвачен китайским начальствующим генералом Ван Фаном. Не сумев договориться, тюрки и тюргеша начали врозь и закончили плохо, из-за упрямства своих предводителей не пожелав пойти навстречу друг другу и объединиться. — Баз-каган сохранял глубокую задумчивость и говорил не совсем то, о чем сосредоточенно думал.

— Отец уверен, в нашей Степи не закончилось, будь осторожен, каган, — сказал юный татаб. — Он высоко ценит, Черного волка.

— Хорошо, мне надо подумать, онг Бахмыл — мудрый правитель. Не ходи в эти дни ни в какие набеги с Тюнлюгом, они ничего не дадут уйгурскому князю, останься при мне, я снова спрошу. Я стар, Ундар-буке, но князя Тюнлюга каганом на Селенге видеть не хотел бы, я знаю уйгурскую кровь... Так потом скажешь онгу Бахмылу.

— Разве каган сам не уйгурских кровей? — удивился юный буке.

— Ее во мне много. Достаточно много, — уклончиво произнес вождь Селенги.

Ночью каган вдруг проснулся, почувствовав, что кто-то сидит рядом.

— Кто-то здесь есть? — спросил он, пошевелившись. — Кто рядом со мной?

— Я, тутун Гудулу, — последовал тихий ответ. — Я прибыл, случайно узнав желание Бинь Бя, но решил не к нему пойти, а к тебе. Ты не рад, как я поступил?

— Где стражи? — зачем-то спросил каган, ощущая, как, испуганно вздрогнув, гулко заколотилось его усталое сердце.

— Успокойся, у входа в шатер мои надежные нукеры, у тебя были совсем никчемные стражи, каган.

— Мы о тебе говорили весь день, Гудулу.

— Я был почти рядом, не раз меня подмывало войти.

— Зашел бы.

— О-оо, навещать хана без приглашения при многих — унижить повелителя громкоголосой и бестолковой толпы! Лучше среди ночи увидеться с глазу на глаз. Однажды я приходил, Баз-каган. До сих пор не знаю, зачем. Но я приходил, искал в твоих глазах разум, надеясь на помощь и получив

под завязку. Тибетский монах больше услышал, чем ты. Не пугайся и не дрожи, зла во мне нет, я снова пришел с миром: может быть, что-то все же поймешь.

— Кого тутун посетил раньше меня?

— Хан опасается за князя Тюнлюга? Или просит о помощи?.. Нет, Баз-каган, я не был у князя Тюнлюга, князь умрет, где начал вражду.

— Тюнлюг умрет на Орхоне?

— Шаманке нельзя не верить, каган! Урыш предсказала: он захлебнется водой моего Орхона, едва лишь придет. Или ты сомневаешься в тайных способностях управлявшей самим мирозданием, которой поклонялись многие повелители старой тюркской Степи? Старуха по сей день, как мне известно, глубоко почитаема на острове древней веры, Байгале, с которым у нее связи никогда не прерывались. Туда по сегодняшний день летают ее почтовые голуби. Посоветуй Тюнлюгу никогда не ходить на Орхон, и я не трону его.

— Тюрк Гудулу угрожает ему или мне?

— Баз-каган, назвав меня волком, признайте за мной право на волчьи повадки. Зачем угрожать словом, когда я могу воткнуть нож в твое горло!

— Почему тутун Гудулу решил, что Орхон только его?

— С древних тюркских времен им владело мое поколение — кто-то не знает?

— Тюрки Кат-хана уступили эти земли китайцам, но тутун направляет свой гнев на мою орду!

— Моя злоба сейчас, как стрела, летящая за Каменную Стену. Твоя орда, она на привязи у Поднебесной, каган встал на моем пути, у него под рукой нет ни одного тюркского рода. Я готов уважать смелых уйгуров, но кто, по-твоему, тюрки в Степи, Баз-каган? Перекати-поле?

Едва заметно шевелилось невысокое пламя в сальной плошке. Правитель-каган сидел, поджав укрытые мехом колени под подбородок, тутун — сложив ноги под собой, и оба они походили на странные изваяния, у которых подвижны только изредка взблескивающие в полутьме глаза.

Баз-каган пошевелился первым, выпрямил ноги, вытянул поверх меха жилистые длиннополые руки, разминая будто, пошевелил этими тонкими пальцами, похожими на детские:

— Хорошо, я готов подумать, как тебе помочь... Почему бы не стать Орхону твоим!

— В помощи я не нуждаюсь, каган, однажды ты обещал. И служить я тебе не намерен. Говорю, и запомни, не посягай на верхние земли Орхона. Все, больше ничего не прошу. Ни тебя, ни уйгурского князя. Или снова приду и сделаю, что не закончу сейчас, уважая твою старость. Видишь, в Степи говорят правду: я и ухожу, когда пожелаю, я

счастливчик!

— Сегодня Тюнлюг назвал тебя Черным волком пустыни. — Не выражая страха, каган усмехнулся.

— Он всегда ошибается. Тутун Гудулу покинул Черные пески, он рядом с тобой.

— Что передать монаху, он уезжает в Чаньянь — ты с этим пришел?

— Привет передай, я помню Бинь Бяо и уважаю. Скажи, тутун Гудулу не нашел в темноте шатер монаха, поэтому мы с ним не встретились...

— Ты грабишь больше уйгурские огузы и щадишь телесские, ты...

— Тутун Гудулу не грабитель, каган, он забирает отобранное у пастухов, — перебил его Гудулу. — Прощай. Не вставай у меня на дороге и не жди, когда я приду в злобе. Я сожалею, но в Степи нам становится тесно. Желаю удачной облавы на Волка Степи.

И тутуна не стало. Лишь ветер коснулся лица кагана, будто над ним пролетела легкая птица.

* * *

Закрыв глаза, словно глубже проваливаясь в тепло летней ночи, каган ощутил в себя невероятную пустоту, не имея сил ни пошевелиться, ни позвать на помощь. Он прожил

последние два десятка лет в относительном покое, привык слышать рядом в лице монаха Бинь Бяо сильную руку Китая и степной вражды не хотел, но мирная жизнь разрушалась. Она почему-то долго не терпит продолжительного равновесия, всегда вдруг появляется кто-то, не желающий мирного сосуществования и доверительной дружбы. Быть жестоким при власти практичней, но таким ощущать себя ему не хотелось. Тонко звенело в ушах, будто над ним летал одинокий комар, и метался до самого утра, пока в шатер не ворвались перепуганные воины.

Не говорить о случившемся было невозможно — у шатра лежало четверо мертвых стража, но когда Баз-каган сухо сказал, что его посетил тутун Гудулу, никто не поверил. «А если приходил этот разбойник, почему ты живой, каган?» — читалось у всех на лицах. Даже в глазах у прибежавшего в тревоге худосочного сына. Все были готовы припасть к ногам, ощупать от затылка до пят, воспринимая его как чудом уцелевшего, странно смотрели. И князя-уйгуры, и князя-телесцы. И одноглазый управитель атлыг Як-Турган, и дюжина жен, размякшие лица которых он давно так близко не видел. Жены пялились на него особенно испуганно и тревожно. В каждой из них бился собственный страх и свои тревоги. Так уж устроено во всяком окружении правителя, что кто-то всегда

ближе ему, желаннее, тепло привечаем и вознаграждаем его вниманием, лаской, заботой, а кто-то живет позабытым и отстраненным, не желая с этим мириться, выстраивая собственные надежды. Сколько в каждой из них своевольного и затаенного! Испуганного и недоумевающего! Как проступила на каждом лице эта ненасытность самолюбивых желаний!

— Рессуль, подойди, — произнес каган, выделяя одну из своих жен.

Ханша была статна, красива и молода. Она доводилась близкой родственницей уйгурскому князю Тюнлюгу, и каган взял ее в жены вроде бы по расчету, стремясь к миру меж ним и уйгурами, что в орде понимали. Но Рессуль была ему очень дорога, он стеснялся своих чувств к ней, смущался рядом с ней старости, и только нее был сын-наследник.

Вспыхнув чувствами женской неловкости, проступившими на смуглом лице густыми бурыми пятнами, словно бы заранее извиняясь перед остальными женами кагана, которых повелитель не пожелал заметить, высокая статная уйгурка покорно подошла, подталкивая впереди худенького болезненного мальчика. Ее вытянутое сухощавое лицо с упругими щеками, ровным, чуть удлиненным носом, мягкими неширокими губами было не очень смуглым в сравнении с обычными

уйгурскими лицами, оно было лишь с налетом приятной и притягательной смугловатости. Она несла себя прямо и строго, ее карие глаза, устремленные на кагана, изливали на повелителя и господина волны искреннего женского соучастия и переживания. Она его слышала, и он ее слышал. Кагану было приятно, как она смотрит на него, неподдельно и просто переживая случившееся, и что довелось ему пережить. Другие сейчас были ему не нужны. Ни женщины, ни стражи, ни слуги.

Приблизившись на допустимое расстояние, положив крепкую руку на плечо сына и заставив его встать на колени, она и сама опустилась перед каганом, задыхаясь, произнесла:

— Мой господин, мое сердце... У меня отнялись ноги.

— Я знаю, Рессуль. Я знаю, — мирно, с благостным облегчением произнес каган, принимая на руки и грудь повалившегося сына, и приказал: — Оставьте нас. Решайте, решайте с тутуном. Придет ли он снова ко мне, не знаю. Но к вам, точно придет.

— Хан думает, тюрк Гудулу будет ему опасен? — спросил несколько позже посетивший кагана монах.

— Он пока слишком прост, совсем не похож на вождя, и уже опасен. Он бесстрашен, Бинь Бяо. Таких воинов я давно не встречал, — заставил себя

выговорить степной предводитель. И тут же ответил на немой вопрос, готовый сорваться с языка монаха: — К нему может сбежаться вся старая тюркская Степь, скажи об этом Сянь Мыню.

— Я плохо стал слышать Чаньань, едва ли в ней задержусь. Отпусти со мной сына. В Китае найдутся лекари, пристрою в хорошую школу.

Монах любил его нездорового, слабого сына, предчувствуя большее, чем слышит каган, предлагал нечто разумное.

Каган усмехнулся:

— Да поможет нам Небо и благосклонность Умай-эне! Он мой сын, моему старому сердцу теплей с его матерью. Возвращайся, Бинь Бяо, и с тобой мне теплее.

ЧТО СКАЖЕТ О ТЮРКАХ ТЮРК?

Не спросив более ни о чем, посланник Чаньани поспешней засобиравшись в обратный путь и в полдень уехал.

Его длинный путь лежал через опустевшие земли эдизов, Желтую реку в районе старого тюркского капища над скалистым обрывом, усмиренный Ордос, восточный проход в Стене, выходил на Шаньдунский тракт и, через месяц, отвечая на вопросы тайного советника императрицы и бывшего сотоварища монаха Сянь

Мыня, вкрадчиво сообщал:

— Огонь Шаньюя и Алашани достиг старой Степи, что тревожно, Сянь Мынь! Ты напрасно поторопился казнить последнего предводителя тюрков князя Фуняня, устроить его головой, выставленной рядом с головой Нишу-бега и князя Ашидэ во Дворце Предков. Обозначился неприятный след знакомого нам тутуна Гудулу, мне кажется, он вернулся.

— Он вырвался в Степь, зачем ему возвращаться? — в искреннем недоумении воскликнул озабоченный, как всегда, совсем другими вопросами, и почти равнодушный к собрату.

— За соплеменниками и славой, Сянь Мынь. Он будет мстить Китаю жестоко.

— Мы не сделали Китай сильнее, чем он был? — спросил раздраженно Сянь Мынь.

— Мой старый друг хочет услышать мнение монаха Бинь Бяо или ждет поддержки своего? — усмехнулся Бинь Бяо.

— Говори, все равно скажешь, — проворчал Сянь Мынь.

— Поверь, из дикой Степи видно понятней. Сильнее, чем при Тайцзуне, Китай не стал и скоро не станет, — заявил мягко Бинь Бяо.

— Упрекая за князя Фуняня, о чем ты подумал?

— Князь Фунянь мог бы стать на Орхоне, кем стал в Турфане тюркешский князь Дучжи. Баз-кагана пора заменить.

— Есть сильная уйгурская ветвь токуз-огузов.

— Самый сильный уйгурский князь Тюнлюг своеволен и мало послушен, будет новой ошибкой возвеличивать своеволие. Вспомни о той, кто была до него, пролив много китайской крови?

— Бисуду, если ты о ней, не была уйгурской правительницей! — рассердился Сянь Мынь, напрямую причастный печальным временам, о которых, к его неудовольствию, заговорил Бинь Бяо.

— Она была сестрой уйгурского князя-вождя Пу-жания, поднявшего лет двадцать назад возмущение, и продолжила, когда князя убили. Оно уже предвещало неприятности, Сянь Мынь, давая повод задуматься, но Чаньянь не задумалась.

— Ты затем в дикой Степи, чтобы думать и за нас и за нее, — укорил его советник императрицы.

— Прикажи отыскать Бисуду-ханшу, — хитро сузил глаза Бинь Бяо.

— Бисуду осталась жива?

— Бисуду-ханша здравствует и процветает, Сянь Мынь, недавно ко мне пришло подтверждение. Ей покровительствовали хагасы, с дальним прицелом скрывая ее местонахождение, но теперь ищи у карлукского джабгу, через хана

Дучжи. На Заиртышских землях карлуков опять беспорядок и свара... У меня появились сведения, что карлукский джабгу готовится сделать набег на Верховья Орхона тюрка Гудулу и жрицы Урыш, если знаешь такую сильную предсказательницу тюркского Кат-хана, что можно использовать к выгоде! Держи наготове на границы песков и Степи тюркешское войско хана Дучжи!

— Ты видишь бродягу-тутуна без роду и племени настолько способным?

— Воспользуйся, пока Гудулу-волк в Степи и пока не вернулся в Ордос или в Шаньси, где его ждут. Застав Степь воевать в Степи, в Китае тюркам нечего делать!

— Тюрк не дрогнет снова напасть?

— Посчитает за первую необходимость, прославляющего тюрков!

— Что можно сделать? — Монах проявил серьезную заинтересованность, сузил глаза.

— Вначале уйгурский князь и тюрк-тутун сойдутся друг с другом — все подготовлено, вражда между ними вечна. Если князь вдруг погибнет, должны появиться карлукский джабгу и старая уйгурская ханша. Есть сильный, но вялый Хагяс, в котором сейчас меняется власть поколений, и под рукой у тебя, подобный верной собаке, хан Дучжи. Но, Сянь Мынь, нельзя изгонять за пределы Стены тюрков-ашинов, удержи

последних в Китае! Они не знают пока степных запахов, способных вскружить голову, а тутун уже знает. При этом тюркский север Китая в пределах Желтой реки для него более привлекателен, чем Степь, — ненавязчиво говорил монах Бинь Бяо.

— Место тюрков не в пределах Китая, а за его Стеной, они язычники! — неожиданно Сянь Мынь проявил несговорчивость.

— Шаманов, старые капища с идолами уничтожить не трудно и легче, чем злобное дикое племя. Тебе из Чаньани стало не видно, Сянь Мынь, а я... Я многое понял в странствиях, отлученный тобой от Чаньани и собратьев по вере. Выслушай хотя бы, зная о полной тебе преданности и моих сомнениях. Подумай о тюрках иначе, чем думаешь.

— А ты будь осторожен с принцем-наследником. Кажется, он увлекся тобой в прежнее посещение и просит снова о встрече. Говорю: близится неизбежное, утишь на время степные вольнодумства, — предупредил его холодно и недвусмысленно советник императрицы.

Неприязнь неглупых людей в отношении друг к другу проходит разные уровни отторжения и неприятия. Не многим Сянь Мынь говорил настолько прямо и резко, практически не допускал подобного отношения к себе, но с Бинь Бао, несмотря на случившееся охлаждение, их многое связывало в многолетнем владении властью,

житейские тайны одного давно стали тайнами другого. И сейчас его раздражение вызвал не сам старый собрат по незыблемой и единой вере, а юный наследник, ожидающий встречи с Бинь Бяо, в которой наследнику нельзя отказать. Неожиданным было и то, в каком рассудительном беспокойстве о Бинь Бяо заговорил вдруг старый Учитель, храм которого Сянь Мынь недавно посетил. Учитель сказал: «Душа, закрывшая доступ тому, кто побывал в ней однажды и не в лучшее время — бывает ли в порядке и крепком покое, Сянь Мынь? Не ищет ли она другого Пути Просветления, а ты упускаешь, проявляя несправедливость к ищущему собрату?» Не многих желая услышать, Учителя он услышал, хотя по-своему, и вдруг увидел, чего замечать никак не хотел: Бинь Бяо вдруг оказался рядом с принцем-наследником и стал ему интересен...

Сообщение Бинь Бяо о тюрках и тутуне, сделанное в решительной форме, заставило Сянь Мыня задуматься и, помолчав, он произнес:

— Попозже зайди ко мне... Может быть, вечером. Наверное, нам есть о чем поговорить более доверительно.

Так уже было, и на новую встречу Бинь Бяо не рассчитывал, когда за ним пришли одновременно и от наследника и от Сянь Мыня. Не колеблясь, Бинь Бяо последовал за посыльным придворного монаха.

— Найди наставника принца гвардейца Тан-Уйгу, — приказал Сянь Мынь, вызвав слугу и, ничего не объясняя, попросив Бинь Бяо скрыться за шелковой занавеской, глухо буркнул: — О тюрках послушаем тюрка.

Офицер ждать себя не заставил, вошел, изрядно запыхавшись, и низко поклонившись, как подобает, произнес:

— Я спешил, Сянь Мынь, оставив принца в досаде.

И снова уважительно поклонился. Еще ниже.

— Садись, — позволив наставнику-офицеру выполнить полагающиеся приветствия, распорядился монах, указывая рукой на циновку, — и ответь: насколько ты тюрк, Тан-Уйгу?

Взгляд монаха, сохраняя внимательность и доверительность, не мог обмануть, воспитатель наследника хорошо его знал, видел внутреннюю собранность и высокую степени беспокойства, и на мгновение растерялся.

— Учитель мной недоволен? Я снова допустил большую ошибку? — спросил он поспешно.

— Внимательно наблюдая, я многое в тебе поощряю, оставаясь в сомнениях, — ворчливо и вроде бы подкупающе добродушно произнес монах, не в силах скрыть глубокую задумчивость и озабоченность. — Самые знатные тюрки-князя,

тюрки с кровью ашинов, не имеют доверия, оказанного тебе...

Он оборвал свою мысль, как поступал достаточно редко, желая, чтобы ее поняли и продолжили.

— Своим положением при наследнике я удовлетворен, Учитель, — Тан-Уйгу сделал новый низкий поклон.

— Приятно, что ты доволен, пытаюсь в последнее время выйти из-под моей воли.

И этот прием смены мысли Сянь Мыня во дворце был многим хорошо известен — теперь Тан-Уйгу промолчал, сам выжидая.

— С тобой что-то случилось, я знаю, — вроде бы неохотно, через силу, как трудное, но необходимое, произнес монах, мгновенно наполнившись холодом, — Я хотел бы помочь, если не поздно.

— Учитель, оказывается труднее всего управлять собственным разумом, — поспешно заговорил Тан-Уйгу, не совсем понимая, куда потечет беседа и, догадываясь, что льстивостью в ней не отделаться.

— Достигая власти над собой, человек способен становиться бесконечно большим и бесконечно малым. Что тебя волнует? Ты сам в себе или то, чем ты занят? — хмуро спросил монах.

— Следуя наставлениям Учителя, я остаюсь

для наследника только наставником по боевым искусствам. Наследник хорошо стреляет, владеет своим телом. Он вынослив, у него крепкая рука и верный глаз... Я делаю, что могу, и что поручает Учитель Сянь Мынь, но многое во мне раздвоилось, — тихо произнес Тан-Уйгу; настойчивый взгляд монаха порождал в нем не совсем управляемое волнение.

— Тан-Уйгу, почему я только монах и больше никто? Почему тебе хочется быть притесненным в Китае тюрком? Разве не в этом начало?

— Кто же я, если не тюрк? — неожиданно раздражаясь, воскликнул Тан-Уйгу.

Монах смотрел на него не столько удивленно, сколько тяжело, досадливо хмуро, заставив смутиться произвольно и неосторожно вырвавшимся раздражением. Последние события сломали привычно-удобную систему его взглядов, которой он отгораживался от мира и дворцовых шатаний. Сломавшись столь неожиданно в нем, они все сильней и всеядней вынуждали его усомниться в возможности воспитания будущего китайского монарха человеколюбивым и доверительным, подталкивали к необходимости искать свое новое самоопределение. Искать другие начала в себя и только в себе. Он точно утратил вдруг разом способность остро мыслить, быстро и точно ориентироваться в постоянном общении с

окружающими и непосредственно в монахом. Вместо былой самоуверенности и прежней целеустремленности в отношении наследника, представления о будущей жизни в империи как ровной, востребованной всегда, им все более завладевали подавленность и размышления о никчемности земного бытия вообще. Ненужности поставленной самому себе цели. Ее недостижимости. Не находя всей изворотливостью того важного, о чем ему нужно сейчас говорить с монахом, он беспомощно замолчал.

Сянь Мынь поспешил на помощь, веско бросив:

— Тюрк или китаец — ты наставник будущего императора Поднебесной! Близкий, понятный, необходимый. — И напористо подчеркнул, еще более разрушая в Тан-Уйгу прежнюю целостность взглядов: — Ты китаец степного происхождения!

— Я не просил, Сянь Мынь, ты сам приставил меня к наследнику! — словно бы защищая последние ценности и прежний монолит недавней собственной целостности, воскликнул Тан-Уйгу.

— Многое происходит не так, как нам представляется. Ты выбран давно. Мы гордились тобой, были всегда рядом, позволяя идти прямой дорогой. Зачем искривляешь свой путь, Тан-Уйгу? Тебя потянуло в далекую Степь? Хочешь вскочить

на коня? С кем, для чего? — Сянь Мынь говорил спокойно, без нажима, и чего-то настойчиво ждал.

— Услышав огонь, пока я в сомнениях, трудно ответить прямо, — отозвался туманно мужественный гвардеец.

Откровения гораздо чаще бывают опасными, чем полезны и выгодны, что Тан-Уйгу давно усвоил, но, умея непринужденно, как бы походя, льстить монаху, лгать он совсем не умел и, смутился обтекаемостью собственных слов, лишь прибавив уверенности и напору монаха, заговорившего резче.

— Тебя утомили мои искусные речи, которыми недавно ты восторгался, и нашел других подготовленных наставников? — спросил резче монах. — Дух предков, боевые ураны Степи оглушили твой изощренный разум, которым я восхищался? Направь его на будущего повелителя Тысячелетней державы — еще и за этим ты рядом. Гаоцзуна приучали не любить инородцев, и он не любил, — сказал Сянь Мынь о здравствующем императоре, как говорят о мертвом. — Почему бы его сыну немного не смягчиться, чувствуя рядом неглупого инородца?.. Отвечай полней, Уйгу, я должен знать! Беспокойство мое достигло предела, вокруг принца началась суэта, я не хочу тебя потерять.

— Ты почти угадал, Сянь Мынь: головы

умерщвленных тюркских вождей наполняют меня тоской, захлебнувшись в Желтой реке приходят во сне. Прежняя слава и доблесть тюрков, не только преданно служивших Китаю, но и владевших Поднебесной, обернулись презрением, как если бы ничего никогда не существовало... Чужим оставаться трудно, лучше уйти. Кровь отца, матери — моя единая кровь! Я тюрк, но уже не дикарь! Я тюрк, но уже не кочевник. В этом беда подобных мне.

Смушение и ярость боролись в монахе. Не ожидая настолько глубоких откровений подопечного, не готовый к ним при всей предусмотрительности, монах чувствовал неприятие услышанным. Продолжать в таком духе беседу, зная, что они не вдвоем, становилось опасным.

— Воин-тюрк загорелся походами — славно, Уйгу! — Сянь Мынь перешел на привычную насмешливую риторику и слащавые восклицания, таящие угрозу. — Вспомнил запах степных костров — что лучше! Хочешь увидеть Степь, какой она стала?

Вопрос его прозвучал громко и неожиданно, застал офицера врасплох.

— Мне непонятно, Сянь Мынь...

— Пойдешь и поймешь. Сходи, сходи в свою Степь! Исполни мое пожелание, способное через

общение с тобою пойти на пользу упрямым степным народам. Ты продолжаешь помнить смерть многих в Желтой реке?

— Я плакал и умирал вместе с ними, Сянь Мынь! Что хочешь, чтобы я сделал?

— Хочу послать тебя в Степь — я сказал.

— Для чего? С каким поручением?

— Всегда задавай один вопрос. Когда задают два — плохо. Очень плохо, Уйгу. Это говорит о неспособности собраться в сложный момент и думать, о чем важнее спросить, не проявляя беспокойности.

— Прости, Учитель! Зачем необходимо пойти к Баз-кагану? — поспешно исправился Тан-Уйгу.

— Решил, что пойдешь к Баз-кагану? — спросил монах, ожив проницательными глазами, уставившимися не без любопытства на тюрка.

— Конечно! Подумав, я так решил! — без колебаний ответил наставник будущего императора, догадываясь, что на этот раз монах удовлетворен ответом.

— Объясни, мне интересен ход твоих мыслей. — Монах еще больше сосредоточился, вынуждая Тан-Уйгу к новой осторожности в том, о чем собирался сказать.

— Есть на востоке татабы, кидани, эдизы. Пока у них нечего делать, — сохраняя рассудительность, произнес Тан-Уйгу. — Лесные

народы забайгальских, хагяских земель далеко — ты сказал о Степи. Десятистрелые племена Заыртышья поручены тобой хану-тюргешу и не могут быть поручены тюрку. Остается Халха, Орхон, Тола и Селенга. Все, что нужно узнать, лучше узнать в ставке кагана на Толе.

— Видишь, ты умеешь думать, когда собран! — Монах был доволен, и доволен, скорее, собой, чем офицером. — Пойдешь к Баз-кагану как тюрк, не станем скрывать твоего происхождения, и найди, что хочешь найти.

— У меня не будет... особого поручения? Не боишься, что я не вернусь? — Смятение Тан-Уйгу достигло предела.

— Вернешься, Уйгу! Вернешься другим, и продолжим беседу. Может быть, я действительно заблуждался, и у тебя другое предназначение.

— С кем я пойду? Когда и насколько?

— Тан-Уйгу, ты опять задал целых три вопроса! — укорил монах.

— Я пойду с теми, кто бывает на Толе достаточно часто?

— Да! — Сянь Мынь дернул за шелковую кисть шнура и, когда из-за шторы вышел Бинь Бяо, сказал: — Будешь его сопровождать как простого монаха-странника, ищущего новую паству. Это монах Бинь Бяо, ты знаешь его.

— Знаю, — поспешно сказал Тан-Уйгу. —

Наследник просил представить странника или монаха, много видевшего, я водил Бинь Бяо к нему на беседу.

— Тем лучше, — Сянь Мынь многозначительно усмехнулся, давая понять, что знает о встречах, они не остались для него и его верных слуг незамеченными.

— Что сказать принцу, и когда быть готовым? — Тан-Уйгу послушно склонил голову.

— Сейчас в Черных песках еще жарко, — неопределенно произнес Сянь Мынь. — Пока я желаю чаще видеть тебя и Бинь Бяо вместе.

МОНАХ БИНЬ БЯО

Станным человеком и монахом оказался для молодого тюрка этот Бинь Бяо. Многое в нем было не таким, как в других и в его покровителе. Он показался вроде бы мягче в доказательствах своих убеждений, в рассудочности, терпимей в общении. По крайней мере, Тан-Уйгу, восприняв настороженно пожеланию Сянь Мыня чаще видеть его вместе с Бинь Бяо, никак не понимая для чего, скоро поймал себя с удивлением, что в его жизни многое изменилась в лучшую сторону и меняется содержанием.

Встречи с Бинь Бяо стали ежедневными, утром и вечером, нередко в присутствии старого

историографа, сообщавшего много полузабытых сведений о народах Степи, забытых, но поучительных отношениями меж ними, а первая беседа, когда говорил многословно, пространно только Бинь Бяо, почему-то долго не выходила из головы.

Вначале, покинув Сянь Мыня и оказавшись в благоухающем саду, Бинь Бяо, никак не связывая с поездкой в Степь, заговорил, что представляет свою жизнь как некое высшее соизволение, выпавшее на его долю потому, что сам он оказался к нему подготовлен всем предыдущим. Это прозвучало несколько заумно, высокопарно и даже самонадеянно, Тан-Уйгу был знаком с подобными риториками, без особого желания настроился выслушать очередной вздор о высокой монашеской сути и — ошибся.

— Нам с тобой, юноша, скорее всего, долго предстоит быть вместе. Но у меня есть свое отношение и к жизни духовной, чисто монашеской, и к той, что в Степи, далеко не монашеское, почти не духовное, и я не хочу, чтобы ты невольно мне помешал. Или, поняв не так и меня, непривычное мое поведение, и тех, кого ты скоро увидишь, поспешил доложить об этом Сянь Мыню, — произнес монах, едва они ступили под сень ухоженных деревьев. — А я определюсь в отношении тебя; так я всегда поступаю в подобных

случаях.

Монах показался немного неуверенным, и Тан-Уйгу спросил:

— Чем тебе неприятен... нынешний случай, создавший и мне затруднение? Ты был к нему не готов? Почему ты вдруг решил, что я должен докладывать Сянь Мыню о тебе?

— О-оо, сколько вопросов, ты плохо следуешь наставлениям своего покровителя и наставника! Не я так решил, решение принял Сянь Мынь. Вернувшись, каждый из нас... Я должен буду говорить о тебе, ты обо мне.

— Что ему в нас...

— Что в том, кого проверяют и ради чего? Дело не в этом, но зачем проверяет, что мне важнее, узнать не дано.

Понятного Тан-Уйгу было мало, по правде сказать, его вообще не находилось, и гвардеец спросил:

— Ты запутал меня вконец. Что в этом больше, хорошее или плохое?

— Получив неглупый совет Сянь Мыня, получи и мой. Давай возможность говорящему с тобой в первый раз высказаться, как он сочтет нужным, не перебивай. Спрашивать стоит, когда оказываешься в полной растерянности, но спрашивай осторожно. Предчувствуя неполный ответ с тобой говорящего, умей сопоставить что

слышишь и что предчувствуешь... Вот еще! — Вопросы Тан-Уйгу почему-то сбивали монаха с мысли или сам он рвал ее, начиная иначе и на новую тему: — Думаю, придет время, когда власть предержавшим ни армия, ни чиновники станут ненужными. Править будет строгая и понятная логика: это должно совершаться так, это иначе. Логика убедительнее грубой силы и полезней даже тогда, когда скрывает заблуждения или преднамеренность. Она не может быть выгодной или невыгодной, твоей или моей, как не может и насаждаться насильственно — ибо тогда она станет догмой и будет отринута. Но люди охотнее принимают самые жесткие догмы абсурдного и бессмысленного, отвергая усредненную рассудочность лишь потому, что разуму беспокойно само рассуждение о возможности равенства. Оно ему разрушительно в неустанном состязании за первенство мысли. Но путаная мысль несовершенного разума намного опасней рассудка, полного преднамеренностей и коварства, еще только затевающего его. Не удивляйся, во мне иногда течет как бы сразу две мысли, и я вслух говорю то из одной, то из другой, не пытаюсь решить, когда же я прав. Я не хочу принимать быстрые решения, постоянно пытаюсь рассуждать. Но решения принимать приходится каждому. И тому, кто в Чаньани, и кто в дикой Степи... Мне и

тебе.

На миг показалось, что монах сам проверяет в чем-то своего будущего спутника по предстоящей поездке в Степь. Его трудно было постигнуть, но, кажется, Тан-Уйгу начинал понимать: настолько витиевато и многосложно монах говорил не для глупого, а скорее для догадливого собеседника. Потому и мысли свои усложнял, прятал в них что-то, о чем догадаться непросто. И такого Бинь Бяо нужно было принимать гораздо осмотрительней, слушать внимательней, чем в прежних беседах, которые случались меж ними в кабинетах историков, чиновников разного толка, с любопытствующим принцем. Тогда монах представлял человеком, отвечающим на вопросы интересующих не лично его, а где-то, откуда монах появился и о чем намерен поведать как обычный рассказчик, оставалось много загадочного и непонятного даже ему. Теперь он сам проявляет любопытство, готовясь выпрашивать других, привлекая внимание к себе уже в собственных интересах, мало понятных еще Тан-Уйгу. В этом было что-то тягостное, не совсем приятное, может быть, необязательное для их отношений в эту минуту, но вызывало его невольный, усиливающийся интерес. Монах Сянь Мынь о себе так никогда и ни с кем не говорил. Тем более о глубинных личных сомнениях, ни разу не